

Вадим Макшеев
ДАМОКЛОВ МЕЧ



Käesolev e-raamat sisaldab autoriõigusega kaitstud materjale ja kogu e-raamatu sisu on autorikaitse objekt. E-raamatu kasutamine on lubatud üksnes autoriõiguste omaniku poolt lubatud viisil ning tingimustel.

Tingimused e-raamatu kasutamiseks:

1. Kogu e-raamatu sisu on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused reserveeritud;

2. E-raamat on mõeldud üksnes isiklikuks kasutamiseks;

3. E-raamatu osaline või kogu sisu paljundamine mis tahes kujul on keelatud, va isiklikuks kasutamiseks e-raamatu digitaalses exlibrises fikseeritud e-raamatu omaniku poolt;

4. E-raamatust või selle üksikutest osadest võib teha isiklikuks tarbeks väljatrükke üksnes e-raamatu digitaalses exlibrises fikseeritud e-raamatu omanik, e-raamatu kopeerimine ja kolmandatele isikutele jagamine ei ole lubatud;

5. E-raamatu võib alla laadida ning salvestada oma arvutisse üksnes e-raamatu digitaalses exlibrises fikseeritud e-raamatu omanik;

Keelatud on e-raamatust kõrvaldada omandiõigust tähistavaid märke, etikette või muid e-raamatu märke.

VASTUTUS

Autoriõigusega kaitstud e-raamatu mittesihipärane kasutamine või omavoliline turustamine on ebaseaduslik ja on aluseks kahjunõude esitamisele. E-raamatu väljaandja ja levitaja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb e-raamatu väärast kasutamisest.

Kasutades käesolevat e-raamatut nõustute automaatselt eespool toodud tingimustega.

Вадим Макшеев

ДАМОКЛОВ МЕЧ

Повесть, рассказы, очерки

Valge Raamat

2016

Книга выходит при содействии «Эстонского фонда помощи репрессированным» (Sihtasutuse Eesti Represseeritute Abistamise Fond)

Редактор: Пеэп Варью

Верстка: Николай Семченко

© Вадим Макшеев, 2016

© Sihtasutus Valge Raamat, 2016

ISBN 978-9949-9842-1-3 (epub)

Содержание

И землю русскую целуя

Дамоклов меч

Венчальные свечи

Отцовские погоны

Скажи, отец

В Пюхтицы

И зарыдает на пустыре одинокая скрипка...

Свои, чужие

Перед грозой

Отцовская шапка

По сути дела

Отцвели уж давно хризантемы...

Несите ей цветы!

Об авторе

Фотографии

И ЗЕМЛЮ РУССКУЮ ЦЕЛУЯ...

БЕЛАЯ эмиграция — «совокупность лиц, покинувших территорию бывшей Российской империи в период Октябрьской революции и гражданской войны. Общая численность — до 2,5 миллионов человек». За этими, в свое время идеологически выверенными строками Советского энциклопедического словаря судьба культурного слоя прошлой России. Трагедия миллионов людей, для которых покинутая «территория» ассоциировалась с их детством, юностью, первой любовью, дорогими сердцу местами, со всем, всем невозвратимым, оставшимся за роковой чертой. Но в отличие от эмигрантов, прибывших к дальним берегам, где уже ничто не напоминало о милом сердцу Отечестве, в Эстонии, где прошло моё детство, русские обрели кров на земле, где оставались православные храмы и монастыри, старожильческие русские деревни и вошедшие в российскую историю города. В Тартуском университете еще по-прежнему читали студентам лекции русские профессора, продолжали существовать русские гимназии, театры, библиотеки. Да и сама природа была одинакова — что под Гатчиной и Лугой, то и возле Нарвы, что на восточном берегу Чудского озера, то и на западном: березняк, ельник, можжевельник, замшелые валуны на полях и полянах, сырой балтийский ветер...

И всё же по ту сторону была Россия, по эту — чужбина. Чужбина предоставила эмигрантам кров, спасла многих от неминуемой гибели, но как бы там ни было — чужбина по словарю Даля: «Чужая сторона. Чужой — не нашей земли, иноземный». Одно дело — гостить на чужой земле, иное — сознавать, что пути домой уже нет, и до скончания дней жить тебе в государстве, где ты — иноземец. Тяготы эмигрантского быта в двадцатых годах усугублял охвативший западный мир экономический кризис. Нужда, скитания по чужим углам — всё это для меня в раннем детстве было само собой разумеющимся — другой жизни я не знал. Дома слышал

постоянно упоминаемые, неотъемлемые от нашего тогдашнего бытия слова: «безработица» и «нансеновский паспорт» — временный вид на жительство отца и таких, как он, сотен тысяч русских апатридов... «Горе в чужой земле безъязыкому», — гласит издревле пословица. Отец эстонский язык освоил, что же до мамы, то она им овладела лишь в пределах необходимого общения с хозяевами и приказчиками эстонских лавок, куда ходила покупать в кредит продукты. Знала, что хлеб — leib, молоко — piim, картофель — kartulid, масло — või мясо — liha, знала, что пять центов — это viis sentid, десять центов — это kümme, а одна крона — üks kroon... Большого знания эстонского языка, как и всем женам русских эмигрантов, ей не требовалось. Найти работу, за редким исключением, им было невозможно, да и издавна принято было в той среде — кормильцы семьи — мужья, жены воспитывают детей и заняты домашними делами. И потом, когда после долгих скитаний наша семья, наконец, обосновалась в рабочем поселке с трудно воспринимаемым для русского уха названием — Кивиыли, где отец смог устроиться работать на сланцеперегонном заводе, мама постоянно латала и штопала чулки, носки, рукава моих стареньких свитеров, прохуdivшиеся варежки моей сестренки. Иногда ей удавалось немного подзаработать — ходила на дом к состоятельным эстонкам и за небольшую плату преподавала им французский и английский языки, которыми в совершенстве владела. Увы, знания эти не пригодились ей потом в Сибири, там надо было работать пилой, топором, лопатой. Этому маму не научили. Да и не было у неё сил...

Сибирь — последний этап её жизни. Как, впрочем, и многих русских женщин-эмигранток, привезенных в Сибирь в сорок первом. Но я о другом — о жизни в эмиграции.

Сегодня, когда по телевидению бывают передачи об эмигрантах «первой волны», обычно показывают либо русские кладбища в Париже и Ницце, либо пожилых людей, выросших во Франции, Испании, Австралии и в другом, как ныне принято именовать, дальнем зарубежье. Эти люди — уже дети тех, кто в начале двадцатых годов нашел пристанище на чужой земле и в чужой земле зарыт. На могильных плитах и крестах над ними русские имена подчас обозначены латинскими буквами, дети тех, обретших

последний покой на чужбине эмигрантов, по-русски говорят с иностранным акцентом, внуки изъясняются на нём с трудом, либо вовсе русского языка не знают. Родились они за границей, там получили образование, обзавелись семьями, их дом там. Россия для них не чужая, но и не родная.

Мои сверстники, дети русских эмигрантов, родившиеся в ныне далеких двадцатых годах, были первым поколением, знавшим Россию по рассказам родителей, учебникам истории, дореволюционным журналам, иллюстрациям, открыткам.. Та прежняя Россия тогда еще не ушла далеко по времени, и мы чувствовали свою принадлежность к ней, быть может, сильнее, чем наши ровесники в России жившие. Мы пели песни, которые в юности пели наши отцы: «Плещут холодные волны», «Взвейтесь, соколы, орлами», «Вечерний звон». Однако когда в школе бывали торжественные акты по случаю эстонских государственных праздников, то вместе с эстонскими мальчишками и девочками пели:

*Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa... [1]*

Пели о сине-черно-белом флаге, на котором синий цвет — небо над Эстонией, черный цвет — ее земля, белый — чистая душа Эстонии... Следовало уважать страну, в которой мы жили, так же как русским во Франции надлежало уважать Францию, жившим в Польше — Польшу и т.д. Независимо от того, большое государство это или маленькое, существует оно много веков либо появилось на карте Европы недавно.

Учились мы в одном здании с эстонскими ребятами, но школы под одной крышей было две — русская и эстонская. На перемене мы держались за своих, они — за своих, у нас были свои уроки и свои учителя, у них — свои, у нас были скауты, у них — «Noor Kotkad» — молодые орлы... Буду искренним, мою душу тогда не трогали слова эстонского гимна и эстонских песен. Теплое чувство к стране, где осталось детство, возникло во мне много позже. Для моих

сверстников, в Эстонии родившихся, она уже была родиной — «isamaa», но в русском языке два понятия: Родина — земля, где ты родился, и Отечество — земля народа, к коему по языку и национальности принадлежишь. Тяготение к Отечеству у росших за рубежом моих сверстников было сильнее, нежели к земле, на которой они появились на свет. А Отечество наше было рядом.

*Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек, —*

самозабвенно распевали русские подростки на улицах Нарвы и шахтерских поселков, где жили преимущественно выходцы из России. Кинофильм «Цирк», положивший начало триумфальному шествию этой песни, демонстрировался во всех кинотеатрах Эстонии. И я ходил с родителями в кино на этот фильм, где плакала и пела Любовь Орлова, а жестокий и глупый американец не мог понять, как могут советские люди ласкать родившегося у белой женщины черного ребенка. Шел тридцать седьмой год, от южных гор до северных морей захлестнул Советскую Россию девятый вал массовых репрессий, трупами расстрелянных заполнялись наспех вырытые ямы, детей расстрелянных увозили на спецпоселение... Но хотелось верить в гремевшее с экрана:

*Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...*

В те годы много русских подростков пыталось сбежать в Россию. Иных задерживали и возвращали эстонские пограничники, но некоторых задержать не удавалось. Помню двух живших в Кивиыли братьев, фамилия их, если мне не изменяет память, Чириковы. Старший уже работал на заводе, младший учился в школе. Решив сбежать, они доехали поездом до Нарвы, а оттуда уже недалеко до границы... Старший пролез под рядами колючей проволоки, младшему в последний момент стало жалко оставшуюся мать, и, упав

лицом в примятую траву, он заплакал. Старший ушел в Россию, младший вернулся домой к матери.

В советских газетах тогда часто публиковали сообщения о славных советских пограничниках, задерживавших многочисленных нарушителей границы. Знаменитый Карацупа, о котором много рассказано в детских книжках тех лет и чье имя вошло в Большую Советскую энциклопедию, задержал в те годы более двухсот человек. Не знаю, как было на дальневосточных рубежах, где ловил нарушителей Карацупа, но что касается границы между Эстонией и Советской Россией, то многие, переходившие ее, оказывались на территории СССР отнюдь не с целью совершить диверсию, а стремились к тому, что видели в кино. Они хотели туда, где «молодым везде дорога», туда, где под полощущимися на ветру знаменами шагают колонны людей со счастливыми лицами. Нарушители границы, многим из которых было по пятнадцать-шестнадцать лет, бежали в страну мечты. Страна эта была Россия, а мальчишки эти были русскими.

Судьба их покрыта мраком. Коли разоблачали чекисты сотни тысяч «вражеских агентов» у себя в СССР, то проникшие из-за рубежа были для них находкой. Особо и стараться-то не надо было, нарушители сами шли к пограничникам.

Вернуться когда-нибудь в Россию надеялись все покинувшие ее после революции.

*И будет вскоре весенний день,
И мы поедem домой в Россию,
Ты шляпу новую надень:
Ты в ней особенно красива.
И будет праздник большой, большой,
Каких и не было, пожалуй,
С тех пор, как создан шар земной,
Такой смешной и обветшалый.
И ты прошепчешь: «Мы во сне?»
Тебя со смехом ущипну я.*

И зарыдаю, молясь весне

И землю русскую целую.

Это Игорь Северянин. Ностальгия, присущая поколению моих родителей, будто с детства уже предчувствовавших что-то трагическое в своей судьбе, была особенно сильна. Владимир Набоков, большую часть жизни проведший вне России, писал: «По смутному наитию мы заранее к чему-то готовились, учась вспоминать и упражняясь в тоске по прошлому, дабы впоследствии знать, как не погибнуть под его бременем». О том, как мучительно тяжело это было, он признавался в написанном незадолго перед Второй мировой войной стихотворении «К России»:

Вечер страшен, гул жизни затих.

Я беспомощен. Я умираю

От слепых наплываний твоих.

Мне, выросшему в среде «совокупности лиц, покинувших территорию», о трагедии двойственного отношения русской эмиграции к покинутой ими и отринувшей их Родине известно не по энциклопедическому словарю и не с чужих слов. Примирить в своей душе ту прежнюю Россию, в которой те люди выросли, с Россией Советской помимо ностальгии их побуждало сознание неотвратимости надвигавшейся войны между СССР и фашистской Германией. И, когда осенью 1939-го после подписания в Москве печально знаменитого пакта, по которому Сталин и Гитлер поделили Европу на «сферы влияния», жившим в Прибалтийских странах русским эмигрантам надо было окончательно решить для себя — с кем быть? Спешно покидавшие по зову фюрера Прибалтику остзейские немцы уже знали — пройдет немного времени, и сюда войдет Красная Армия. Уезжавшие на запад звали с собой русских эмигрантов. Не знаю точно, сколько эмигрантских семей жило в Кивиыли, знаю — русских в этом поселке было много. Уехало в Германию две семьи.

Есть в нашем фольклоре вещей для русских эмигрантов образ конного витязя, в раздумье глядящего на придорожный камень с выбитыми письменами: «Направо поедешь — останешься жив, но конь твой будет мертв, влево поедешь — конь спасется, а сам погибнешь, прямо поедешь — несдобровать обоим». Три судьбы на выбор... И была четвертая...

«Мы, Оля, разделим свою судьбу с Россией», — сказал маме отец, когда они стояли перед выбором. И семья наша разделила участь миллионов русских семей-, разлученных концлагерями, ссылками, смертями. Не знаю, как сложилась бы наша судьба, если б осенью тридцать девятого мы уехали в Германию. Не знаю и не хочу гадать. Родители хотели, чтобы мы жили в России — отец, мать, я и моя сестренка Светлана.

И мы в Россию вернулись. Отец в эшелоне с такими же, как он, арестованными — в концлагерь на Северный Урал. Мама со мной и моей шестилетней сестренкой — на спецпоселение в Сибирь...

И зарыдаю, молясь весне...

И землю русскую целую...

Отца не стало в сорок первом. Мама и сестренка умерли от голода в сорок втором.

В детстве я познавал Россию по рассказам родителей, книгам, советским кинофильмам, по старым и новым песням. Познавал, находясь по ту сторону границы. Потом познал Россию уже по эту сторону пограничной проволоки. Познал подневольную и вольную, крестьянскую и городскую, жестокую и милосердную, страдающую и веселящуюся, окаянную и молящуюся...

Я вернулся в Россию и живу в ней уже более шестидесяти лет. Но какой страшной ценой оплачено это возвращение! Могло быть иначе, или всё нам предписано свыше?

2000 г.

-
1. ↑ «Отчизна, счастье и радость моя, как ты прекрасна!» — первые строки гимна Эстонской Республики.

ДАМОКЛОВ МЕЧ

ОТЕЦ мой родился на Украине в семье статского советника, председателя Полтавского окружного суда Александра Николаевича Макшеева. Семья была многодетной — восемь детей, из которых отец мой был самым младшим. Когда ему шел третий год, мой дед умер, и бабушка с детьми перебралась в Петербург. Там в 1906 году отца приняли в Первый кадетский корпус, по окончании которого он поступил в Петербургский технологический институт. А когда началась мировая война, подал заявление в Михайловское артиллерийское училище и в 1915 году был уже на фронте в Галиции.

Мама рассказывала, что в семнадцатом году он приезжал ненадолго в Петербург и ходил в форме с погонями, что было опасно — распропагандированные агитаторами солдаты, которыми была наводнена столица, нередко срывали погоны со встреченных на улице офицеров и избивали «золотопогонников». Уехав из Петербурга на Украину, отец вступил в Добровольческую армию. С такими же, как он, брал и оставлял города, станции и станицы, надеялся, отчаивался, снова надеялся. С такими же, как он, отплывавшими на кораблях Белой эскадры офицерами и солдатами, прощался с Отчиной. Покидали родную землю пять лет на ней провоевавшие, покидали, не зная, что будет с ними на чужбине, не ведая, что станет с теми, кто остался. Припадали к воде и взмывали над расходившимися за эскадрой бурунами белые чайки, медленно уходил в сырую мглу крымский берег, уходила во мглу Россия.

Описанный Булгаковым в «Беге» путь ставших эмигрантами тысяч и тысяч людей. Чужие берега, чужие города, чужая земля. Но, в отличие от тех, кому некуда было приклонить на чужбине голову, у отца во Франции жил близкий человек — его сестра Таня. Еще до революции она уехала в Ниццу с больным мужем, которому было

необходимо лечение на Средиземноморском побережье. Уехала, намереваясь через год вернуться, но разразилась мировая война, потом в России произошла революция, затем началась война гражданская... На родину папина сестра уже не возвратилась. Кто знает, как сложилась бы ее судьба, окажись она в России после всего, что там случилось — погибла бы в блокадном Ленинграде или скончалась где-нибудь в Сибири, но оставшуюся жизнь она провела на солнечной Ривьере, где растут пальмы, а в светло-синем море отражается такое же бирюзовое небо. Она любила Францию, но до окончания дней вспоминала русские ели, русские зимы, белый искрящийся снег. Умерла она в преклонном возрасте, оставив несколько изданных за рубежом сборников своих стихотворений и небольшую книжку воспоминаний об Екатерининском институте, в котором когда-то училась. Умерла одинокой, последней из некогда многочисленной семьи, в судьбе каждого из членов которой преломилась судьба России.

Но когда к ней в Ниццу приехал мой отец, все еще были живы. Три года она не имела вестей от родных из охваченной фронтами гражданской войны России, и только догадывалась, что ее брат Коля в Белой армии. Могу представить, как они встретились в 1921 году... Когда тетя Таня уезжала во Францию, отец еще учился в кадетском корпусе, теперь за его плечами было пять долгих лет войны: Полесье и Галиция, донские и кубанские степи, бесконечные колеи размешанных колесами весенних и осенних дорог, взрыхленная снарядами, траншеями и могилами русская земля... Уходивший в туманную дымку крымский берег, великий исход из России — всё было уже в прошлом. Шел отцу двадцать шестой год, оставалось еще двадцать лет жизни, обретение семьи, недолговечное счастье и смерть в Севураллаге.

И всё же были тогда еще впереди эти двадцать лет...

«Три года жил в Турции и Франции. Работал на многих работах во многих местах» — в этом написанном отцовским почерком ответе на один из вопросов анкеты, которую необходимо было заполнить после вхождения Эстонии в Советский Союз, — жизнь отца в те первые годы эмиграции, когда казалось, что это ненадолго, что всё в

России образуется, станет, если и не как прежде, но и не так, как сейчас, и можно будет вернуться.

Не знаю, какие из моих воспоминаний об отце самые давние. Они неотделимы от моего раннего детства, и то немногое, что не забылось, будто разрозненные странички канувшей в Лету книги. Вижу холодный прибалтийский город, сырые мебелированные комнаты. Слышу клацанье подков извозчичьих лошадей под изборожденными стекающими по стеклу каплями дождя окнами, чувствую запах печного дыма, дразнящий пряно-кофейный аромат колониальной лавки в полуподвале двухэтажного дома, рядом с которым мы одно время жили... Всё это нечто единое — видение и ощущение неразрывно связанного с родителями раннего детства.

Но если тот период мне мнится бесконечной пасмурной осенью, то последовавшее за этим время, когда отец стал работать на строительстве железной дороги в Печоры, кажется долгим, долгим солнечным летом, медленно переходящим в прозрачную ведренную осень.

Бывает так — хочешь восстановить в памяти что-то давно прочитанное, пробудившее в душе трепетные светлые чувства, и не можешь. Сохранилось лишь неясное воспоминание о чем-то волнующем и трогательном. Так и из того периода моего детства почти не запечатлелось в памяти каких-то событий, но осталось ощущение безотчетной радости бытия. Быть может, потому что в городе я долго и сильно болел, а может, от того, что у родителей уже не было прежнего чувства безысходности, и это неосознанно передалось мне. Силюсь сейчас пробиться к тому, что может еще таиться где-то в закоулке памяти, но опять и опять перебираю всё те же уцелевшие странички канувшей в Лету книги: проселки-просеки, в усыпанном хвоей песке которых увязают колеса груженной нашими пожитками крестьянской подводы, просвеченный солнцем стиснувший дорогу сосняк, над вершинами которого ведет куда-то голубая дорога высокого неба, поскрипывание телеги, теплые запахи смолистой хвои, вереска, живицы... Обрывается видение, и уже другой, связанный с тем кочевым детством запах — аромат переспелых яблок. Мелкие, побитые, они рассыпаны возле бревенчатой стены, и босоногий мальчонка, втыкая в них

заостренный прутик, с ' размаху бросает их куда-то за забор. «Дай мне», — прошу я. Мальчишка протягивает мне такую же хворостинку, и мы оба увлеченно кидаем яблоки за подернутый сухим мхом гребень кровли, покуда с соседнего двора не раздастся сердитый женский голос. Побросав прутики, убегаем в прохладные сени, сквозь щели в притворе двери узкой полоской тянется к нам по сенным половицам теплый солнечный свет, духмяно пахнет перезрелыми яблоками, вянущими смородиновыми листьями, мучным закромом.

И еще видение того времени — крестный ход вокруг Печорского монастыря. Духовенство в парчовых ризах, мальчишки, облаченные в глазетовые стихари, причетники, служки, старые и молодые монахи, мужики из окрестных деревень в белых косоворотках, бабы, повязанные светлыми платочками, с монистами на шее, темноликие старухи, разновозрастные ребятишки — вся эта пестрая растянувшаяся толпа медленно движется вдоль окружающих монастырь стен, у подножья которых по отлогому валу стелятся рядки скошенной травы. И я в этом торжественном крестном шествии, рядом идут мама и отец. Благолепно поют певчие, колышутся шитые золотом и серебром хоругви, лиловеют фиолетовым бархатом камилавки, чернеют клобуки, медвяно пахнет вянущим разнотравьем и ладанным дымом. Плывет впереди икона в тяжелом окладе, брызжут солнечные блики на чем-то металлическом, за багрянцем кирпичной стены золотятся кресты, возле пролетов звонницы летают галки, трезвонят колокола, струится маревом нагретый воздух, и надо всем этим голубое-голубое, как на иконе, без единого облачка лазоревое небо.

— Боже мой, как хорошо, — произносит мама.

Я крепко держусь за ее руку, и сейчас, через много-много лет, словно опять слышу мамин голос, слышу слабый аромат ее духов. В вырезе маминого платья с короткими до локтей рукавами — тонкая цепочка нательного крестика, причесанные по моде тех лет на косой пробор каштановые волосы приспущены с одной стороны на лоб, большие глаза щурятся от слепящего солнца. Почему-то когда вспоминаю их, неизменно чудится в них затаенная грусть.

Справа от меня отец. В белой рубашке с распахнутым воротом... Хочу представить его тогдашнего, но перед мысленным взором возникает давняя фотография. Вот он в центре группы строителей железной дороги присел на короткую бетонную трубу и пристально смотрит на меня из того времени. Уходит вдаль широкая просека с вкопанными вдоль железнодорожного полотна столбами электролинии, торчат неубранные геодезические вышки, неподалеку перевернута ручная тачка. По обе стороны от отца сидят еще двое, несколько рабочих стоят. Наверное, солнце в зените — от козырька черной отцовской фуражки на его лицо пала тень. А впереди будто из-под земли к нему протянулся расходящийся луч света. Может, перед объективом блеснуло что-то на вырубке, может, засветилась фотопластинка.... На обороте фотографии надпись: «Ст. Клим, 1930».

Чем старше становлюсь, тем пуще память скрадывает время. Так вода, скрадывая расстояние, приближает звук. Бывало, в Сибири стою светлой ночью на крутояре, слышу, как забрели в реку напиться отпущенные в ночное кони — плеснула вода, фыркнула лошадь, звякнуло одинокое ботало... Всё далеко на другом берегу, но чудится — рядом. Так голоса прошлого кажутся иногда близко-близко, сделай несколько шагов, и ты там...

Но обманчиво это ощущение на реке, обманчиво и во времени. С каждым мгновением прошлое уходит всё дальше. Пока писал эти слова, еще отодвинулось то, о чем пытаюсь сейчас рассказать.

Утрами, когда я просыпался, отца уже не было дома — он рано уходил на работу. Возвращался поздно, и, когда я засыпал, он еще что-то писал и чертил на освещенном керосиновой лампой столе. Линейки и треугольники, лекала, транспортиры, готовальни с циркулями и рейсфедерами, сине-красные фаберовские карандаши, шебаршащие листы кальки — всё это тоже часть нашего тогдашнего быта.

Много лет спустя увидел в «Деле» отца отпечатанное на мелованной бумаге свидетельство: «Дано сие студенту Русской политехнической школы заочного преподавания при North American I.M.S.A. Макшееву Николаю Александровичу в том, что он проходил курс проектирования и производства земляных работ, причем

выполнил все предложенные ему работы и задания, обнаружив отличные успехи... Париж, 27 дня мая месяца 1930 года». Второе свидетельство об окончании курса машинного черчения датировано 24 декабря 1931 года. К «Делу» приобщены две студенческие зачетные книжки — Русской политехнической школы и Тартуского университета. А ведь я многие годы и не знал, что отец тогда был студентом. Не знал, что провоевавшему пять лет, оказавшемуся в эмиграции, ему надо было одновременно работать и учиться, чтобы начинать жизнь заново. Жизнь, которой уже оставалось десять лет.

Папа, папа... Как мало успел я узнать от тебя о твоём детстве, отрочестве, молодости. О сколь многом расспросил бы сейчас... Но скоро уже шестьдесят лет, как ты лежишь в каменистой уральской земле возле неведомой мне реки Сосьвы, и с тобой ушла из мира твоя память. Но и тогда, когда мы были вместе, то мало общались. И тогда, когда я был маленьким, и потом, когда стал постарше, и семья наша после кочевой жизни обосновалась в Кивийли. Рано утром ты уходил на завод, вечерами читал на кухне и что-то выписывал из книг для себя, мама и сестренка спали в комнате за притворенной дверью, я рядом с тобой делал уроки или тоже читал, и мы оба молчали, чтобы не мешать друг другу. Мне было хорошо и уютно, но всё это я оценил потом, когда уже не было ни родителей, ни сестренки, ни всего, что казалось тогда само собой разумеющимся... Я помню, папа, как за тот последний год, когда все мы были еще вместе, ты постарел. Тебе было всего сорок пять лет, но ты знал, что над тобой и твоей семьей навис дамоклов меч. Державший этот меч волос стремительно утоньшался.

Однажды в Томской телестудии, куда меня пригласили на телепередачу после того, как в журнале «Октябрь» была опубликована моя повесть, где я упомянул о судьбе своего отца, ведшая передачу молоденькая журналистка спросила: «А почему он оказался в Белой армии? Вероятно, ему было что терять?» Нет, у семьи, в которой отец вырос, не было ни поместья, ни земли, ни собственного дома. Но было у него чувство долга перед своим Отечеством. На глазах таких же, как он, русских офицеров из отнюдь не богатых семей рушилось всё, чему они присягали, чему верили, что любили... И большинство их связало свою судьбу с Белой армией.

В июне 1941-го, когда пришли отца арестовать, а семью нашу отправить в Сибирь, описали всё изъятое имущество. В описи пятнадцать наименований: «Кровати спальные — 2, кровать детская — 1, кровать-раскладушка — 1, шкаф для одежды — 1, комод — 1, стол столовый — 1, стол письменный — 1, стол маленький круглый — 1, абажур — 1, шкаф кухонный — 1, стулья мягкие — 6, стулья простые — 2, стулья детские — 2, полки книжные — 2, санки детские — 2». Сбоку помечено: мебель вся подержанная».

Бедный мой отец... Тебе нечего было терять, кроме Родины, в 1920-м. Нечего было терять, кроме жены, детей и жизни, в 1941-м...

В твоём «Деле», которое я смог увидеть полвека спустя — меморандум на твой арест. Типографский бланк, куда вписаны фамилия, имя и отчество, год рождения, образование, место жительства, место работы. И основание для ареста: бывший офицер царской и Белой армий, участвовал в боях на юге СССР против Красной армии, награжден орденами... Внизу подписи оперативного сотрудника НКГБ и председателя уездной тройки. Дата — 26 мая 1941 года. Но что-то не успели тогда подготовить, и судьба даровала тебе еще восемнадцать дней пробыть с семьей. Последние восемнадцать из немногих счастливых дней твоей жизни. Восемнадцать из ста семидесяти еще остававшихся жить.

Не ведая, что уже заготовлен документ о твоём аресте, ты уходил по утрам на завод, набожная мама, прощаясь, как всегда, торопливо крестила тебя, а будильник на комоде мерно отсчитывал убывавшее время.

Однажды, придя с работы, ты сказал, что кто-то неизвестный справлялся по телефону в заводском управлении — на месте ли ты. Арестовали уже многих русских эмигрантов, в тот день, наверное, была решена и твоя судьба. В «Деле» подшито постановление: «Семью Макшеева Николая Александровича, состоящую из трех человек: Макшеевой Ольги Федоровны — жена, сына — Макшеева Вадима Николаевича, дочери — Макшеевой Светланы Николаевны, выслать в отдаленную местность». Подпись старшего уполномоченного УО НКГБ, резолюция председателя уездной тройки: «Согласен». Дата — 6 июня 1941 года. До исполнения оставалось восемь дней. Уже готовился конвой, уже стучали по

рельсам железнодорожные составы гулаговских вагонов. Пока еще порожняк... Шли последние приготовления к массовой акции. Решено было брать одновременно тысячи людей. Эстонцев, латышей, литовцев, гуцулов, евреев, молдаван, русских эмигрантов. 14 июня пришли за тобой, за мамой, за мной и моей сестренкой. Быть вместе нам оставалось несколько часов.

«Они жили вместе долго и счастливо и умерли в один день»... Кажется, так оканчивается известный классический роман. Умереть одновременно любящим друг друга — тоже счастье, ибо страшнее смерти для них разлука. Жизнь моих родителей не была долгой, они недолго были счастливы, и зарыты в землю далеко друг от друга. Но если существует загробный мир, они там соединились.

1997 г.

ВЕНЧАЛЬНЫЕ СВЕЧИ

ПОЖЕЛТЕВШАЯ от времени картонная карточка учета из архива Томского УВД, выцветающие фиолетовые чернила: «Макшеева Ольга Федоровна... Член семьи участника контрреволюционной организации... Год рождения — 1898... Место рождения — Ленинград... Русская... Выслана на основании постановления НКВД Эстонской ССР от 6 июня 1941 года... Под надзором органов НКГБ... Поселок Волково, Васюганского района, Томской области». В верхнем правом углу пометка: «Спецпереселенцы». Внизу последняя запись: «Умерла 17 октября 1942 года». Уложившаяся в несколько строк судьба моей мамы.

Родилась она не в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Впрочем, зачем я об этом... Фамилия её и до замужества была — Макшеева, поскольку доводилась она моему отцу троюродной сестрой. В дворянских семьях подобные браки не были исключением и разрешались церковью. Уже в раннем детстве мама испытала большое горе — умерла её мать, моя бабушка. Дед мой был постоянно занят, и воспитанием оставшихся после смерти его жены детей помимо неременной тогда бонны француженки занималась мамина крестная — Ольга Александровна Медведева, жившая в семье на правах родственницы и очень любившая свою крестницу. Будучи уже взрослой и вспоминая о ней, мама ласково называла её Осочкой. Вероятно, это было связано с чем-то из маминого прошлого, может быть, когда мама была ребёнком, ей было трудно произнести полностью имя и отчество своей крёстной, но хотелось называть её как-то по-детски нежно. Я никогда её не видел, но в моей памяти сохранилось это трогательное: «Осочка».

Имя моего деда Фёдора Андреевича Макшеева, генерала от инфантерии, профессора Николаевской военной Академии, упоминается в мемуарах некоторых учившихся там военачальников,

а в вошедшем в мою судьбу Томске в научной библиотеке университета есть его брошюра: «Артиллерия в войну 1914-1918 гг. на франко-германском фронте». Издана она в Петрограде отделом военной литературы при революционном военном совете республики в 1921 году. В начале двадцатых годов моего деда разбил паралич, но лишенный возможности двигаться и разговаривать, он прожил еще около десяти лет. Ухаживала за ним вплоть до его смерти верная Осочка. Сама она умерла в блокадном Ленинграде в 1942 году.

О детстве своём мама рассказывала часто. Вспоминала Александрыйский и Мариинский театры, любимые ею оперы: «Аиду», «Садко», «Жизнь за царя»... Теперь, когда слышу по радио арию Сусанина, песню Индийского гостя, ликующий марш из «Аиды», — для меня это ещё и нечто из далёкого мамино детства. Часто вспоминала она Метерлинковскую «Синюю птицу» — пьесу, которая ей особенно нравилась. Тиль- тиль и Митиль, поиски сказочной Синей птицы счастья... Рассказывала мама, как приезжала на лето в Гунгербург (теперь Нарва-Йыэсуу), где на берегу Финского залива у моего деда была дача. Помню, как-то она сказала, что, просыпаясь там под неумолчный шум близкого прибоя, вдыхая доносившиеся в распахнутое окно запахи моря, сосен и прибрежного песка, радовалась каждому утру, каждому предстоявшему дню, вероятно, безотчетно ощущая, что всё это в скором времени навсегда уйдёт и останется лишь в воспоминаниях. Лишь сейчас, когда и моё детство давно безвозвратно ушло, я понимаю маму. А тогда не задумывался о том, что всё окружающее меня минет, и лишь иногда со страхом вдруг отчетливо понимал, что когда-нибудь мама и отец умрут, и начинал мысленно торопливо молиться о том, чтобы они жили долго-долго...

Будучи ребёнком, я представлял, что существует две России: одна — та, где жила мама в детстве, и другая — Советская. Так непохожи были одна на другую по маминым рассказам те России. И лишь когда немного подрос, понял, что это одна и та же страна — родина моих родителей и моя тоже. Революция и её продолжение — гражданская война, голодные очереди на обледеневших ленинградских тротуарах, холод неотопливаемой квартиры, корявые буквы призывающих к насилию транспарантов — всё это в маминой памяти

ассоциировалось с Россией Советской. И пугающие по ночам выстрелы на неосвещенных улицах, и приходившие с обыском матросы с какими-то людьми в кургузых кожанках, и страх за скрывавшихся братьев, и какое-то учреждение с труднопроизносимым названием, где, став совслужащей, мама вписывала в разграфленные карточки количество шкафов, бюваров, этажерок, чайников и прочего экспроприированного большевиками хозяйственного инвентаря для новой власти — это тоже была Советская Россия. Через двадцать лет мне, её сыну, тоже доведётся разлиновывать и заполнять нарезанные из довоенных обоев и серой бумаги военного времени бухгалтерские карточки, и эта работа по учёту «материальных ценностей» сохранит мне жизнь в сибирской ссылке после маминой смерти. Неисповедимы пути Господни, неведомо, что может повториться в жизни наших детей.

Существовала в маминой памяти и другая Россия, где всё было привычно, понятно и, казалось, должно было быть всегда — уют и тепло просторной квартиры на Бассейной, Мариинский театр и Александринка, Невский проспект без кричащих плакатов и обшарпанных стен, дни и ночи без обысков, выстрелов, без непроходящего страха за судьбу близких.

Той, прежней России, не стало, большевистская Россия была мамой покинута, её разбитый параличом отец умер, старший брат жил в Северной Африке, другого, оставшегося в Ленинграде, арестовали в тридцать седьмом. Островком во взбаламученном мире была теперь лишь обретенная ею на чужбине семья. В ней сконцентрировалась её любовь, вера, надежда. Продержаться на этом островке маме было отпущено семнадцать лет. Вера, любовь и надежда теперь во мне. И ещё светлая память о маме. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», — писал Толстой в конце девятнадцатого века. Живи автор «Анны Карениной» в последовавшую затем эпоху великих потрясений, вряд ли бы он сделал подобное обобщение о счастливых семьях. Похожими они могли быть в обществе, где всё шло, казалось, по раз и навсегда заведённому порядку, и судьба каждого поколения не отличалась столь разительно от судьбы ему предшествующего, как это случилось потом. Счастливые семьи до революции не были уже похожи на такие же семьи в эмиграции. Тем не менее те, с которыми

общались мои родители, несмотря на присущую тогда всем им житейскую нужду, были счастливы, если подразумевать под семейным счастьем любовь и верность, что характерно для большинства тогдашних эмигрантских семей. Своё, увы, недолгое для многих счастье они обрели, придя к нему тернистым путём, что делало это счастье более осознанным, а подчас и болезненным из-за страха его потерять.

Полюбил мою маму отец, когда она ещё училась в Таганцевской гимназии, а он носил перепоясанный широким ремнем юнкерский мундир и брюки с лампасами. Сохранилась у меня тогдашняя фотография мамы — гимназистка с перекинутыми на грудь косами, белый воротничок гимназического платья, ряд светлых пуговиц на обшлаге, обтягивающем кисть опершейся на столик девичьей руки... Миловидное лицо, большие глаза, в которых чудится мне затаенная грусть. И так же, как на другой фотографии, с которой смотрит на меня молодой поручик артиллерии, мой отец, юное лицо гимназистки, в которую он был влюблен, всё дальше и дальше уходит в светло-коричневую дымку... На обороте этой фотографии отец когда-то написал карандашом: «Моя жена, когда была молоденькой». Сколько нежности мне слышится в этих пяти словах! Ни маме, ни сделавшему эту надпись на обороте её фотографии отцу не суждено было дожить до старости.

На мировую войну он ушёл, когда ему было девятнадцать, а маме семнадцать лет. Дважды приезжал он с фронта на побывку в Петроград, и дважды моя мама провожала его опять на войну. Писала ему письма, ждала от него вестей, как тревожно ждали их тогда миллионы матерей, жён, невест. Мировая война переросла в России в гражданскую, отец воевал где-то в донских степях, потом защищал Крым, воевал за то, чему верил и чему присягал.

Простился он с Россией в 1920-м. Лемнос, Галлиполи, Константинополь, Ницца — таков его путь в первые годы эмиграции. Тяжкий путь по чужим местам таких же, как он, по выражению Марины Цветаевой, «воинов с котомкой». А мама по-прежнему жила в Петрограде, писала письма бывшему поручику, теперь эмигранту без подданства. Путь в Россию ему был заказан, участь белых офицеров известна. Я не знаю, когда мама с моим отцом решили

обручиться, может быть, когда он уезжал добровольцем на фронт, может, он сделал ей предложение, когда приезжал на побывку в Петроград, а может, это случилось, когда они переписывались, будучи уже разлученными революцией и гражданской войной. Знаю только, что в 1923 году, когда ещё возможно было получить визу для выезда из СССР, мама решила к нему поехать и обвенчаться. Франция, где тогда жил отец, была далеко, но в нескольких часах езды от Петрограда находилась Эстония. Там в Тарту, ещё недавно бывшем Юрьевом, жила папина сестра Любовь Александровна Курчинская. Списавшись с ней, родители мои договорились у неё встретиться и там в Тарту обвенчаться. Благо, было где на первый случай приклонить голову. А дальше, что Бог даст.

Приехала в Тарту мама на день раньше, чем отец. Была поздняя осень. Неслышно моросило по крышам с высокими печными трубами, из которых словно нехотя выползал под сеющий дождь робкий дым. Дождевая вода струйками выплескивалась из водосточных труб на тротуары, и облетевшие с оголившихся каштанов листья, мокро шелестя, льнули к маминим ботикам. После Петрограда всё было непривычно и чуждо: заросшие густым плющом стены кирпичных руин на Домберге, вздымавшиеся в гору мощенные булыжником узкие улочки, размеренные удары колокола лютеранского собора со стрельчатыми сводами готических окон и порталов... Незримо витающая память о францисканцах и доминиканцах, о купеческих гильдиях, бюргерах, ремесленниках... Полунемецкий, полуэстонский, затаившийся в себе сумеречный город.

На следующий день приехал из Франции мой отец. Венчались они с мамой в Успенском соборе. Было это 12 ноября 1923 года. Трепетно мерцали перед иконостасом лампы, негромко пели на клиросе певчие, и терявшийся под высокими сводами старческий голос священника призывал Божью благодать на соединившихся в браке раба Божия Николая и рабу Божию Ольгу. Падавший сверху слабый неверный свет растворялся в почти пустом соборе, церковно пахло ладаном, оплывающим воском, и огоньки венчальных свечей золотили оклад иконы, с которой печально смотрели на молодых глаза Богородицы. А над Тарту все также плакало осеннее небо, где-то вдали тоскливо перекликались паровозы и, напоминая о брэн-

ности бытия, звонил по ком-то лютеранский колокол. Тягучие удары плыли и плыли над мокрыми кровлями, опустевшими садами, над тускло блестящими памятниками тем, кто тут когда-то жил, молился, стремился к чему-то высокому и давно сошел в вечную сень. Вернулась мама в Ленинград незадолго перед тем, как мне предстояло появиться на свет. Рожать она решила там, где сама родилась и выросла, где жила заменившая ей в детстве мать Осочка, теперь неотлучно находившаяся возле моего парализованного деда. Когда я появился на свет, меня, еще совсем крохотного, мама подносила к его постели, дед, силясь что-то сказать, радовался и волновался. Мама прикладывала к его лицу мою ручонку, он успокаивался, а потом опять пытался произнести что-то нежное и ласковое...

Много-много лет спустя Ляля, дочь папиной сестры Ольги Александровны, рассказывала мне, как однажды в тридцатом году, приехав со своей матерью из Полтавы в Ленинград, они пошли на Бассейную навестить моего деда.

— Оля приехала! — воскликнула открывшая им дверь Осочка. — Оля!

Расцеловавшись с Ольгой Александровной, она повела их из прихожей в комнату, приговаривая:

— Оля приехала... Оленька...

В ставшей коммунальной квартире уже жили незнакомые люди, оставленная деду и Осочке комната была перегорожена ширмой, и, казалось, оттуда тоскливо кричат изображенные на обтягивающей каркас ткани черные птицы:

— Оо-аа... Оо-аа...

Это мой дед, услышав дорогое имя, подумал, что приехала моя мама, и мучительно звал её.

Осочка провела Ольгу Александровну и Лялю к нему за ширму. По лицу старика текли слезы:

— Оо-аа... Оо-аа...

Не знаю, в каком году он умер — в тридцать втором или тридцать третьем. Помню лишь, как плакала мама, получив об этом известие от

Осочки. А через год умерла моя бабушка — мать отца. И тоже очень долго было грустно после того письма у нас дома. Ни отец, ни мать не могли побывать на могилах своих родителей. И я не был на могиле своего отца. Знаю только, что умер он в Севураллаге. Ступинский лагпункт Севураллага...

Россия и Эстония — две страны в судьбе нашей семьи. В России прошло детство моих родителей, там остались их отрочество, юность, молодость... Затем семнадцать лет они прожили в маленькой Эстонии. Жили нелегко, как все эмигранты, но были счастливы тем, что обрели друг друга, обрели детей. Из Эстонии в Россию их вернули в гулаговских вагонах. И я вернулся в Россию, где родился, так же, как вернулись они. И моя родившаяся в Эстонии сестренка тоже увидела Россию с нар закрытого на железный засов вагона.

А привезла меня мама в Эстонию из Ленинграда, когда мне было лишь несколько месяцев. Рассказывала, что всю дорогу я, завернутый в полотенце, спал у нее на руках. В доме, где родилась мама, все уже было распродано и выменяно на продукты в голодные послереволюционные годы. Не нашлось даже куска байковой материи на одеяльце, и Осочка отдала маме свое вышитое крестиком полотенце.

Увидеть Ленинград, будучи взрослым, я смог, когда мне было почти сорок лет. Но когда, приехав туда из Сибири, попытался ощутить сердцем, что это мой город, в котором я родился, где выросли мои родители, все то прошлое было так далеко от произошедшего затем, что я не мог мысленно перебросить мостик к тому, что существовало где-то за гранью моей памяти.

И только раз в Летнем саду возле памятника Крылову вдруг возникло передо мной видение прошлого. Быть может, мама носила меня крошечного в этот сад, и что-то теперь озарилось в моей памяти, а может, напомнила о чем-то передававшая мне память родителей. Но это яркое и короткое, как мгновенная вспышка света, видение исчезло, словно унесенное порывом прошелестевшего листвой ветра, и вновь я чувствовал себя не вернувшимся в свой город, а лишь приезжим. И потом, когда ходил по Невскому и набережной Невы, когда поднимался по впитавшей в себя запахи многих квартир лестнице дома, где родился, где выросла моя мама и

умер мой дед, тщетно пытался я хоть на миг вернуть озарение, которое возникло в Летнем саду. Всё было за гранью памяти, всё здесь я видел впервые.

Все дни и ночи, которые провел я в Ленинграде, ощущал я давящую память блокадного города. Память его улиц, площадей, оград, домов... Минуло тогда после войны уже пятнадцать лет, но то прошлое ещё витало в этом городе. Будто не покинули его души погибших, будто что-то искали, кого-то безутешно звали... Напрасно пытался я пробиться к тому, что было здесь до сорок второго, сорок третьего и еще раньше — до гражданской войны, до Первой мировой, до революции, но вновь и вновь обращался мыслями к блокаде. Наверное, даже если б не знал о том, что было тут тогда, все равно ощущал бы не стертую временем чью-то чужую память.

Лишь уехав из Ленинграда, через какое-то время уже вдали от него мне показалось, что я смог представить этот город таким, каким он был до всего, что обрушилось на него потом.

И ощутил к нему грустную нежность. Но это было другое чувство, совсем иное, нежели то, что на мгновение возникло у меня в Летнем саду. Тогда я видел прошлое. Я его видел...

Из тех пятнадцати лет, которые я прожил в Эстонии, последние два года под родительский кров я приезжал лишь на каникулы. Сначала из Тарту, потом из Нарвы. Впрочем, учась в Нарве, удавалось иногда побыть дома и в воскресенье, для чего надо было в субботу сбежать с последнего урока и успеть на уходящий в третьем часу поезд. Проплывет за вагонным окном привычный пейзаж — шпалеры густых елочек вдоль насыпи, гряды валунов на разделяющих поля межах, одинокие мызы, знакомые станции... Два часа пути, и ты дома, где мама, папа, маленькая сестренка...

А в Европе война. Немцы оккупировали Польшу, Советский Союз заполучил военные базы в Эстонии, с которых бомбардировщики с красными звездами на крыльях летают бомбить линию Маннергейма. С басовитым гулом эскадрильи их низко проносятся над крышами и заводскими трубами нашего рабочего поселка и исчезают в холодной декабрьской мгле.

Летом Красная армия хлынула в Эстонию. Пошли через границу эшелоны с орудиями, танкетками, лошадьми, зарядными ящиками, с навалившимися на перекладины открытых товарных вагонов красноармейцами. Тяжело стуча колесами на стыках рельсов, шли и шли с востока груженные платформы и вагоны, ненадолго останавливаясь на станциях, распространяя запах паровозного и махорочного дыма, лошадей и еще чего-то присущего воинским составам. И, заслышав перестук колес приближающегося издали поезда, местные мальчишки бежали к железнодорожной станции выпрашивать у красноармейцев пятиконечные звездочки с пилоток, которые затем прицепляли себе на рубашки и курточки.

Помню, однажды солнечным июньским днем, заполучив такую звездочку, я прибежал с вокзала и застал маму плачущей. Она стояла у комода в своем пестреньком ситцевом платье, перед ней лежали вынутые из продолговатой коробочки две венчальные свечи, и мамино лицо было мокрым от слез. Перевязанная шелковой лентой коробочка с этими свечами кочевала с нами по всем квартирам и мансардам, где довелось нам жить; сначала мама хранила ее во вмещавшей всё наше богатство скрипучей бельевой корзине, а когда у нас появился подержанный комод, она постоянно лежала в комодном ящике между пахших туалетным мылом наволочек и простыней. К этой коробочке я не проявлял интереса, она была из того прошлого, когда меня еще не было на свете. Теперь она была открыта, свечи лежали рядом на покрывавшей комод белой салфетке, и мама, склонившись над ними, плакала.

— Мам, — окликнул я. — Что случилось?

Она повернула ко мне заплаканное лицо:

— Нет, нет, ничего... Это я так... Просто ушло всё хорошее...

Она попыталась улыбнуться, но вместо этого разрыдалась.

Я и сейчас вижу её полные слез глаза, вижу прильнувшие к свечному стеарину обгоревшие фитильки, когда-то струившие свет двух колеблющихся огоньков. Давным-давно, когда в гулком, почти пустом соборе мама венчалась с моим отцом. Я не пытался ее утешить и молча стоял, зажав в потном кулаке пятиконечную звездочку со скрещенными на алой эмали серпом и молотом.

Теперь думаю, что мама тогда вдруг почувствовала, что станет скоро с нами. Наверное, доставая что-то из комода, наткнулась на эту картонную коробочку, вынула из нее венчальные свечи и подумала, что ей недолго осталось прожить с моим отцом.

— Ушло хорошее... Всё, всё ушло, — повторила она.

С улицы пахло сиренью и сланцевым дымом, в распахнутое окно доносился стихающий перестук колес уходящего эшелона, и я впервые заметил, как много у мамы стало седых волос.

Шел июнь тысяча девятьсот сорокового года. Самое страшное было впереди.

Для неё, для меня, для всех нас. Но после того страшного будет у меня и что-то хорошее. После войны, после ссылки, после разлук навечно... Это хорошее ненадолго возникнет в моей жизни, только будет уже совсем иным, так непохожим на нашу прошлую жизнь. А то, что было тогда, и то, о чем плакала мама, навсегда останется там, откуда нас увезут в запертом товарном вагоне, на котором мелом и белой краской будут намалеваны какие-то цифры, наименования и переkreщенные под пятиконечной звездочкой серп и молот.

Через пять месяцев после трагического июньского утра, когда с глухим стуком задвинется за нами тяжелая вагонная дверь и лягнет снаружи железо за дверь такого же вагона, в котором с соседнего пути уйдет другой эшелон, в котором навсегда увезут моего отца, ноябрьской ночью сорок первого в неведомом нам ранее Васюгане, мама, сестренка и я будем долго пытаться уснуть на полу выстывающей избы. Из-за стены будут доноситься хмельные голоса — там хозяева с гостями допивают недопитую в праздники брагу. Поздно ночью гости уйдут, останется кто-то один, то что-то бормочущий, то порывающийся бессвязно петь пьяную песню. Одну и ту же, одни и те же слова:

Ел бы, да пил бы,

Не работал никогда...

На какое-то время голос будет смолкать. Но потом опять возникнет этот повторяющийся запомнившийся мне вскрик:

Ел бы, да пил бы...

В углах будет что-то потрескивать, будет светлеть в темноте прямоугольник заиндевевшего окна, будет тоскливо и безысходно. И всё будет мешать забыться этот пьяный голос за стенкой. А когда я усну, мне приснится отец. Бледный, какой-то странный, измученный, он печально будет смотреть на меня. Молча смотреть... Я пробужусь от опять возникшего за стеной пьяного вскрика и услышу, что рядом тихонько плачет мама.

— Мам, — окликну я ее шепотом, чтобы не разбудить сестренку. — Я видел во сне папу.

— Ему сейчас очень плохо... Я знаю... — Слезы будут мешать ей говорить. — Наверное, он...

Мама не договорит, но я пойму, о чем она. Пройдут годы, и я узнаю, что в эту ночь папа умер. Двенадцатого ноября 1941-го. Семнадцать лет назад в этот день они с мамой обвенчались. Двенадцатого ноября в почти пустом соборе в этот самый день...

1997 г.

ОТЦОВСКИЕ ПОГОНЫ

ОТЕЦ прошел через две войны, но я не расспрашивал его о них. Так же, как не очень-то расспрашивали своих отцов уже о другой войне дети последовавшего за моим поколения. А родителям о прошлом легче говорить со своими сверстниками, которые это тоже пережили, и на лицах которых старикам не нужно бояться увидеть равнодушие. Интерес к молодости матерей и отцов у детей возникает, когда они сами повзрослеют, но часто узнать из первых уст тогда уже невозможно. Спросить не у кого. Прошлое родителей ушло с ними, канув в Лету.

Говорят — у каждого поколения своя война. В жизни моего поколения их было несколько, но самая памятная — Великая Отечественная, и у каждого из моих сверстников при воспоминании о ней возникают ассоциации, связанные с его собственной судьбой. Голод, вши, колесный пароходишко со сгрудившимися у борта новобранцами, сводки Совинформбюро в Нарымской окружной газете, поросший соснячком погост на окраине села, где похоронены вместе умершие осенью сорок второго года мама и сестренка — всё это воедино связанные в моей памяти два страшных понятия — война и ссылка. Однако в далекие годы моего бедного, но светлого детства, когда трагичное будущее еще предстояло познать, мне было интересно читать книги о войне. Про Полтавскую битву и 1812 год, про войны с турками и оборону Севастополя... Те войны не причинили мне боли, они были не в моем прошлом.

Но однажды я поинтересовался у отца, за что он получил орден, прикрепленный к гимнастерке, в которой он запечатлен на снимке, висевшем у нас дома. Были у него на груди и другие награды, но меня почему-то заинтересовал крест со скрещенными мечами. На той фотографии облокотившийся на резную ручку кресла отец еще совсем молодой; причесанные на пробор волосы, усики над губой,

офицерские погоны с артиллерийской эмблемой... Было ему тогда двадцать лет. Когда я спросил про тот орден, отцу минуло сорок три, и то, что происходило с ним в войну, казалось мне страшно далеким... Через два года, когда пришли его арестовывать, мама успела взять с собой в ссылку наши фотографии, и я потом, осиротев, несмотря на всё, их сохранил. Сберег и ту.

На некоторых снимках лица дорогих мне людей по-прежнему четки, но отцовская фотография с годами становится все бледней, отчего глядящий с нее поручик артиллерии словно уходит от меня всё дальше и дальше. И еще одна из старых карточек, на которой снят маленький мальчик с фарфоровой куклой, постепенно покрывается расплзающимися светлыми пятнами. Этот обутый в зашнурованные ботинки мальчуган с отвернувшейся от фотографа куклой — я, и, будто теряясь в откуда-то надвигающемся белесом тумане, я тогдашний тоже всё дальше ухожу в прошлое, в котором остался мой молодой отец...

— Это орден за Броды, — ответил он мне тогда. — За город, который мы брали в шестнадцатом.

И впервые он мне рассказал о той войне, поведав про знаменитый Брусиловский прорыв, о котором мне пришлось много перечитать уже будучи взрослым, а в историю России были вписаны следовавшие за той Первой мировой другие войны. А тогда, весной шестнадцатого года, русская армия, прорвав фронт от Припяти до Прута, начала стремительное наступление к северу от Полесья, и противостоящие русским австрийские войска, теряя десятки тысяч солдат и офицеров, терпели самое крупное поражение в мировой войне. Но на подступах к Бродам они сумели укрепить оборону, на помощь им подоспели германские войска, и под огнем противника русская пехота залегла. Два дня шли тяжелые бои, а на третье утро мой корректировавший огонь своей батарееи отец, наблюдая в бинокль за неприятелем, увидел, что на железнодорожной станции скопилось несколько прибывших ночью воинских поездов, среди которых он обнаружил состав со штабными вагонами. Сообщив об этом на соседние батареи, отец, не медля, приказал открыть беглый артиллерийский огонь по стоящим на станции эшелонам. Когда снаряды стали врываться рядом с поездом, в котором, как выяснилось

позже, находился австрийский командующий этим участком фронта, состав со штабными вагонами поспешно покинул станцию. Следом стали уходить не успевшие разгрузиться другие составы. Один из снарядов попал в тендер с боеприпасами, высоко полыхнуло пламя... Под прикрытием огня с соседних батарей наша пехота вплотную придвинулась к неприятельским позициям и, когда канонада стихла, поднявшись в атаку, овладела Бродами. Награждая отличившихся, генерал Брусилов вручил тогда отцу орден Св. Станислава — тот самый крест со скрещенными мечами.

Через шестьдесят лет я проезжал через Западную Украину. Утомленный долгой дорогой, бездумно смотрел из купе на закатное небо Полесья, перемежающиеся дубовыми перелесками поля, затянутые вечерней дымкой далекие холмы...

«Броды, — объявила, проходя по вагону, проводница. — Стоянка поезда — пять минут». Кольнула память: «Броды...» За вагонными окнами проплывали черепичные кровли укрывшихся в зелени домов, станционные склады, высокое дерево с гнездом аиста наверху. Застучали сталкивающиеся буфера, поезд остановился, и вместе со сходившими здесь пассажирами я ненадолго вышел на перрон. Мешая увидеть вокзал, на соседнем пути стоял пассажирский поезд на Львов, люди с сумками и рюкзаками спешили к вагонам, по-деревенски повязанные платочками украинки с ведрами и корзинами предлагали купить крупные желтые яблоки. Может, отец увидел бы тут что-то знакомое, может, уцелел тот вокзал, быть может, и тогда неподалеку от него на дереве было гнездо аиста. Но отец уже много лет лежал в каменистой уральской земле, некому было вспомнить и рассказать...

А оставшуюся в отце боль войны я впервые почувствовал, когда мне было, наверное, лет шесть, в затемненном зале кинематографа, куда родители взяли меня с собой на фильм по Ремарку «На западном фронте без перемен». Тянувшийся к экрану пыльный луч высвечивал бегущих и падающих солдат, шинели, каски, повисшие на проволочных заграждениях тела, разрывы, выкидывавшие из окопов землю и какие-то клочья... Я смотрел на экран и одновременно чувствовал, как напрягся сидевший между мной и мамой отец. Наверное, за тенью на полотне экрана виделось ему то,

что вошло в его жизнь с мировой войной — Галиция, Полесье, Прикарпатье.... Брустверы окопов, содрогавшиеся от выстрелов орудия, захлебывающиеся очередями пулеметы, искаженные лица еще живых и уже убитых войной... Всё, как было и будет на следующей войне и потом опять уже на той, когда не будет в живых отца.

Кончился фильм, зажегся свет в зале, двери кинематографа распахнулись в солнечный день. Мы молча шли по тротуару, и я старался крепче стиснуть отцовскую руку, за которую держался. Ведь война кончилась, рядом с ним я, рядом мама, а то, что мы видели, прошло, осталось там, где теперь никого нет... Клацали копытами извозчичьи лошади, чирикали слетевшиеся на булыжную мостовую воробьи, а мы всё шли и шли вдоль двухэтажных домов с торчащими над тротуарами жерлами водосточных труб, мимо фонарных столбов, вывесок над дверьми лавок, мимо освещенной солнцем ратуши с маленькой башенкой на черепичной кровле. Подавленная фильмом мама молчала, отец думал о чем-то своем, но, наверное, вдруг ощутив мое пожатие, высвободил свою руку из моей ладонки, остановился и, крепко обняв, притиснул меня к себе. Может быть, тоже подумал — как хорошо, что то страшное миновало, что рядом с ним мама, я... И сегодня, спустя много лет, я вспоминаю, как он тогда обнял меня, и такая во мне нежность и такая жалость к нему...

Наверное, чтобы осознать чужую боль, надо пережить свою. Но в детстве, еще ничего страшного не испытал, порой я все же ощущал затаенную боль отца. Боль от той первой в его жизни войны и последовавшей за ней войны гражданской, которая для него и миллионов русских людей была еще трагичней.

Вспомнил сейчас, как отец взял меня на открытие памятника павшим воинам Северо-Западной армии. Той армии Юденича, которая осенью девятнадцатого года дошла до Пулковских высот под Петроградом и, обескровленная, откатилась обратно за порожистую Нарову. Сегодня, перечитав множество ранее не публиковавшихся в СССР воспоминаний участников Белого движения, я пытаюсь представить этот исход и, кажется, будто вижу, как запавшими в каменные стены окнами настороженно глядят эстонские мызы на бредущих по раскисшим дорогам солдат,

измученных коней, на подводы с ранеными и больными тифом. Возникающим в небе белым роем опускаются первые снежинки на укрывшие тела шинели, запекаются на бинтах кровь, горячечные и уже ставшие восковыми лица, на которых не тает снег. В тяжелом молчании идет колонна, изредка звякнет что-то железное, кто-то скажет что-нибудь на ходу, и снова звук вязких шагов, скрип колес, тяжелое молчание сотен людей. Идут солдаты, идут офицеры, идут ставшие на войне сестрами милосердия офицерские жены. Уходят из-под Гатчины, Луги, Ямбурга, уходят от большевиков. Позади Россия, ставшая чужой еще недавно своя земля...

И умерших от ран и тифа хоронили уже не в России. Выросли свежие могильные холмики под Нарвой, Усть-Нарвой, возле Чудского озера, осталась братская могила северо-западников и неподалеку от Кивиыли на лютеранском кладбище в Люганузе, где в середине тридцатых годов на собранные эмигрантами пожертвования когда-то поставленный там деревянный крест заменили высоким металлическим.

Открывали памятник пасмурным осенним днем. Вздрагивали под морозящим дождем поредевшие листья лип и берез, роняя копившиеся капли на непокрытые головы, венки, кресты, надгробия.... В туманной сырости ник к устланной опавшей листвою земле сизый дымок паникадила, мучительно-печально пели певчие. За кладбищенской оградой, где за обнажившимися деревьями виднелся высокий шпиль кирхи, беспокойно летали осенние стаи галок, пахло мокрой землей, увядающими цветами и еще чем-то грустным и таинственным, незримо присутствующим на старых кладбищах.

— Воинам Петру, Александру, Владимиру, Савватею, Никодиму, Петру-у.... Николаю, Викентию, Павлу, Серге-ею, — распевно провозглашал священник.

— Ве-ечная па-амять, — горестно откликались певчие, призывая помнить поименно всех покоящихся под этим тускло блестящим крестом и похороненных с ними же двух безымянных, о которых лишь было известно, что они тоже северозападники. Вечно помнить всех их, скончавшихся от ран и болезней, представших перед Господом.

Потрескивали огоньки восковых свечей, сеяло дождем небо над чужой страной, принявшей останки тех, чей путь окончился на этом клочке земли со странным названием Люганузе.

Я стоял без фуражки рядом с отцом и мысленно видел фанерных солдатиков-северозападников, которыми играл со своими друзьями Сашкой и Мишкой. На солдатиках были одинаковые фуражки, одинаковые гимнастерки с треугольной эмблемой на рукаве, и лица были одинаково румяными, только некоторые солдатика были с усами, а некоторые безусыми. Наверное, безусые были совсем молодыми... Стойко пахнувшие лаком, выпиленные из фанеры солдаты шли в атаку с трехлинейками наперевес, командовавшие ими лихие офицеры — с обнаженными наголо саблями, а безусый знаменосец сжимал такой же румяной, как и его лицо, рукой древко знамени. Деревянными пулями мы стреляли из деревянных пушек, фанерные фигурки падали, их можно было поднять, и они опять шли в атаку под трехцветным русским флагом. Этих северозападников можно было убить только понарошку.

После панихиды к воздвигнутому на постаменте кресту стали выходить те, кто хотел что-то сказать собравшимся о той войне и о тех, кто на ней погиб. Я не запомнил, что говорил отец, и не хочу сейчас выдумывать. Помню, голос его перехватило, помню, каким бледным сделалось его лицо. Таким же бледным, как когда через шесть лет его уводили под конвоем. Он тогда обернулся, попытался улыбнуться мне... Я стоял с половинкой буханки хлеба, которую мама велела ему передать, но конвоиры не пустили меня к нему, и я смотрел, как в шеренге таких же, как он, его уводят. Я не знал, что уводят навсегда, что проживет он еще только пять месяцев. А если б и знал, если б знали об этом мама и Светлана, что бы могли мы сделать? Что сказать? Что крикнуть?

А тот крест на братской могиле северозападников, когда в Эстонию вошла Красная армия, взорвали. Чтобы люди не знали, что там похоронены те, кто воевал в Белой армии, чтобы не было креста на их могиле, чтобы не было о них памяти.

Не помню, сколько мне было лет, когда я прочел написанную отцом повесть о гражданской войне. Среди имевшихся у нас дома книг была одна, отличавшаяся от остальных размером и

самодельной зеленой обложкой, под которой были сброшюрованы две отцовские повести. Писал он по старой орфографии, используя «ять» и десятеричное «и», в конце завершающихся согласной буквой слов ставил твердые знаки, но поскольку большинство книг, которые я тогда читал, были напечатаны до революции, к подобному правописанию я привык. Книг с отцовской книжной полки прочел довольно много, но к той в зеленой обложке интереса у меня не возникало — не типографская, значит, «не настоящая».

Рукописей у отца было много. Делал он выписки из философских работ русских мыслителей, из трактатов мыслителей Древнего Рима и Древней Греции, переводил историю Китая с английского на русский язык, и я бережно храню исписанные им, стершиеся на сгибах две странички о связях Китая и Индии в пятом веке нашей эры. Занимала отца история Востока и связанная с этим тема евразийства; он переписывался с историками-эмигрантами, жившими в Праге, несколько его статей были напечатаны в эмигрантских изданиях... Надеюсь, что где-то за рубежом, где мучались раздумьями и воспоминаниями о родине сотни тысяч оказавшихся за ее пределами русских интеллигентов, эти статьи сохранились. Сложись жизнь моего отца иначе, может быть, он стал бы философом или историком. Но судьба его оказалась иной.

Повести его, очевидно, нигде не были напечатаны, иначе он хранил бы газетные или журнальные публикации, а не рукописный текст. Но писал отец не для себя. Знаю — каждый, берущийся за перо, хочет, чтобы кто-то его слова прочел и воспринял, ибо написанное им — не обращенный в никуда монолог, а разговор с тем, от кого ждешь понимания. Думаю — отец надеялся, что когда-нибудь написанное им прочтут его дети. Прочтут и лучше поймут своего отца. Но Светлана умерла, научившись лишь складывать слова из наклеенных на кубики букв, а я в детстве увлекался Майн Ридом, Купером, Буссенаром, Хаггардом, Джеком Лондоном... Окажись сейчас у меня та отцовская книга, я прочел бы ее не один раз, но тогда она меня не притягивала.

И все же как-то я прочел в ней одну повесть. Прочитав, поставил книгу обратно на место и больше к ней не прикасался. Я и сейчас

мысленно вижу, где она стояла, — на третьей полке снизу, первая слева — «не настоящая» книга.

Повесть была о гражданской войне. Но не было в ней ни батальных сцен, ни развевающих знамен, ни лихих атак. Было иное, тогда мне непонятное отцовское восприятие войны. Думаю, что писал он, живя во Франции, когда все было свежо в памяти, и недавно пережитое требовало какого-то выхода для облегчения души... Впрочем, это мои предположения, спросить не у кого.

Странно, что через столько лет помню некоторые эпизоды из этой повести. Впрочем, вероятно, не забылись они как раз потому, что отличались от того, что я тогда читал о войне. Писал отец, как на каком-то хуторе деникинцы отобрали у старика лошадь. Двух уже отобрали махновцы, теперь последнюю вводили со двора белые. Старик умолял оставить ее, но надо было уходить от настигавших их красных, и офицер, бросив у коновязи своего загнанного коня, оседлал стариковскую гнедуху. Запылил шлях, поскакал за матерью гнедой жеребеночек, а по морщинистому лицу грозившего кулаком своим обидчикам старого станичника текли беспомощные слезы....

Писал отец, как разъезд белых, въехав в растянувшуюся вдоль балки станицу, издали увидел двух буденовцев, поивших у колодца лошадей. Завидев опасность, один из них поскакал прочь, второй, подтягивая подпругу седла, замешкался, и, когда уже вдел ногу в стремя, офицер, выхватив из кобуры револьвер, издали на скаку выстрелил... Выпустив из руки повод, конник упал. Осадив коней у колодца, белые спешили. Чубастый молодой станичник лежал навзничь неподалеку от колодезного журавля, обратив невидящий взор к небу. Рядом на утоптанной земле валялась слетевшая с головы кубанка.

— Метко стреляли, ваше благородие, — сказал офицеру подошедший пожилой есаул.

Разгоряченный скачкой офицер молча глядел на убитого, и не было у него иного чувства, кроме жалости к этому молоденькому казаку. Предопределено было судьбой или случайно пересеклись здесь их пути? Не замешкайся этот конник у колодца, не раскаивался бы офицер в содеянном. Пусть бы пролетела пуля мимо, пусть ехал

бы сейчас этот паренек со своими товарищами по степи, радуясь, что уцелел.

—Зачем я стрелял в него? — спрашивал себя офицер. — Как всё нелепо, жестоко...

И долго потом степными ночами мерещился ему убитый у колодца молодой станичник.

Всё было описано отцом пронзительней, я лишь пересказываю содержание. Может быть, это происходило с ним самим, может, это он исповедовался за тот выстрел?

Помню конец повести. На острове, куда высадили с кораблей часть покинувших Россию белых, обитались сотни бродячих псов, которых турки вывозили из Стамбула. Отец писал, как выли по ночам эти одичавшие псы... И последние строки повести: офицер вложил ствол револьвера себе в рот и нажал на спусковой крючок. Мгновение боли и тьма... Прочитав тогда, я удивился — в романах, где описывали самоубийства, стрелявшиеся прикладывали дуло к виску.... А вообще я не любил книг с несчастливым концом.

Не знаю, куда исчезла эта «не настоящая» книга. Но когда в июне сорок первого за нами пришли, её уже не было. После, уже в Сибири, мама сказала, что отец ее сжег. Однако для тех, кто проводил тогда «массовую акцию», достаточно было записанного в постановлении на его арест: «Является офицером Белой армии, участвовал в боях на юге СССР против Красной армии. Имеет отличия...»

Полученные в войну ордена отец не сохранил. Может быть, они остались у его матери в Петрограде, может, у его сестры, моей тети Тани в Ницце... Я видел только его погоны с артиллерийской эмблемой — перекрещивающимися оружейными стволами. Погоны русского офицера, которые он снял в двадцатом году и которые, перевязанные тесемками, повсюду кочевали с нами. Летом сорокового мы с отцом закопали эти погоны возле нашей последней квартиры, откуда через год его, маму, меня и сестренку увели под конвоем к Народному дому, куда в то трагичное июньское утро сгоняли сотни таких же обреченных семей.

Что вспоминал отец, когда мы с ним закидывали землей стеклянную банку с вложенными в нее погонами? Он мог их сжечь,

как сжег свои повести о гражданской войне, но у него не поднялась рука на погоны. Он мог зарыть их в землю один, но позвал меня, чтобы я знал то место. Может быть, надеялся, что когда-нибудь я выкопаю эту банку. Тогда, когда не надо будет прятать...

Через много лет я приехал в дымный рабочий поселок, где в сорок первом нас разлучили и откуда увезли на восток в закрытых на железные засовы товарных вагонах. Постоял на пустыре, где был дом, в котором мы когда-то жили, и который уже после войны снесли. Постоял, как на кладбище. Я не стал выкапывать банку с отцовскими погонами. Не хочу, чтобы кто-то прикоснулся к его прошлому. Оно в земле, куда сошел он, куда сойду и я. Со всем, что было, ушло и никогда не вернется.

1996 г.

СКАЖИ, ОТЕЦ...

БОЛИТ горло, мысли, как всегда при высокой температуре, то сонны и тягучи, то мучительно остры и воспалены. Что-то давнее, связанное с детством, в этой боли, какое-то воспоминание, одно ускользающее видение. Пасмурное небо, водная гладь, разбегающийся след за кормой. Может, холодная пустынная река, по которой меня везли в детстве много- много дней? Затоплены половодьем берега, горбатый катерок, натягивая трос, тяжело тянет против течения переполненную людьми баржу... Нет. Нет — другое... Было больно глотать, и резко кричали чайки. Бесцветное небо, серое море, но легко на душе, еще не знаешь утрат и разлук навечно, еще нет тяжкого груза воспоминаний... Чайки пытаются схватить на лету кусочки хлеба, которые я бросаю им с парохода, падают на волны и, удаляясь, покачиваются как белые поплавки сетей. Все это еще до той огромной сибирской реки, до баржи, на пропахшую смолой палубу которой опускались отяжелевшие от полета желтоглазые пауты. Душный трюм, кислый черный хлеб, охранники в синих фуражках — все это после, а тогда море, белые чайки... И боль.

Ну, да — боль после операции. Тем летом дома обнаружили, что я глухой на левое ухо. Еще раньше, когда мне шел третий год, отнялась вся левая сторона тела, доктор сказал, что это детский паралич и нет никакой надежды, а мама все молилась о моем исцелении перед иконой Божьей матери. Однажды, когда она была в церкви, я слабо пошевелил парализованной рукой... Мне кажется, я помню тот день, как потянулся к матерчатой обезьянке, лежавшей рядом на розовом одеяльце. Было в комнате так светло-светло...

Болезнь не осталась бесследной, но родители долго не замечали, что я слышу лишь одним ухом. Только когда мне было одиннадцать лет, моя ущербность обнаружилась, и отец повез меня в Нарву к ларингологу. Седой с густыми бровями профессор из остзейских

немцев, поблескивая какими-то металлическими инструментами, исследовал мое ухо, затем, заставив открыть рот, больно придавил ложечкой язык и сказал, что нужно делать операцию. Стоила операция двадцать крон. Таких денег у отца не было, и мы вернулись на поезде домой в рабочий поселок, где тогда жили. А через две недели родители взяли у кого-то в долг, и мы снова отправились в Нарву.

Помню, меня положили на накрытый холодной клеенкой стол, закрыли лицо пропитанной чем-то пахучим марлевой воронкой, и сестра милосердия приказала громко считать вслух. Я досчитал до двадцати. «Медленнее, медленнее», — сказали откуда-то уже издалека. Досчитал до тридцати семи, слова растягивались, не было сил произносить их, я пытался пробиться сквозь возникающий шум льющейся воды, шум усиливался, давил голову, и все исчезло. Не было больше ничего.

Когда я очнулся от наркоза и порывисто сел на операционном столе, не мог понять, где я, отчего больно, почему так светло. «Нагни голову», — сказал кто-то рядом. Кровь шла изо рта, растекалась на белом. Меня увели из операционной в коридор, положили на обшарпанную кушетку. Кружилась голова, больно саднило в горле. Ожидавший в коридоре отец сел возле меня, стал что-то говорить; я прижал ладонь к здоровому уху и не услышал его голоса. Операцию сделали напрасно, профессор ошибся.

Зато мы с отцом отправились в морское путешествие. Еще дома он обещал мне:

— Вот сделают тебе операцию, и из Нарвы мы поплывем с тобой на пароходе в Ревель.

Иногда он по старинке называл Таллинн Ревелем.

— Там пойдем к моему однокашнику Кудрявцеву. У него дома свой музей, он собирает все о кадетском корпусе, где мы с ним учились. Тебе будет интересно... И вообще, ты же не был в Ревеле и на пароходе никогда не плывал.

Я не плывал на пароходе, но минувшее лето провел у моря. Не знал, что это первое и последнее лето у моря в моем детстве. С мамой и маленькой, только что научившейся ходить сестренкой мы жили

тогда в комнате, снятой у хозяйки запущенной дачи в Усть-Нарве. Дача была сырой, неудобной, лето — теплым и солнечным. Впрочем, сейчас кажется, что, когда я был ребенком, пасмурных дней было так мало... С утра мы втроем уходили на пляж, где, опускаясь пологими отмелями в залив, тянулся сыпучий, куда не достигал морской прилив, и вязкий у кромки моря, нагретый солнцем песок.

Там возле распластавшихся ласковых волн я строил замки с башнями и окружавшими зубчатые стены рвами, которые тотчас наполнялись проступавшей морской водой, сестренка в белой панамке лепила рядом из песка что-то свое, подступали к пляжу высокие сосны, алел купол старого курзала, надменно сияла белизной вилла Каприччио, и над ее плоской крышей лениво колыхались разноцветные флаги, по которым можно было знать, из каких стран живут там приехавшие отдохнуть богатые люди. Играл в беседке духовой оркестр, пестрели купальники, летние зонты и тележки мороженщиц, а выше всего вздымалось неумолчно шумевшее море.

Там, где оно переходило в небо, возникнув из голубой дали, появлялся пароход. Иногда он долго-долго стоял на одном месте, и я представлял, как, откинувшись на спинки плетеных кресел, там дремлют, вдыхая свежесть моря, люди, которых я никогда не увижу: льется из граммофона музыка, капитан смотрит в бинокль на далекий пляж, а рядом, облокотившись на нагретые солнцем поручни, щурится от прыгающих в волнах солнечных бликов молодая женщина в шляпе с широкими полями... Таинственная чужая жизнь, и жизнь своя, которая через много лет возникнет этим видением и исчезнет, как разрушенный волной песчаный замок, как смытые с пляжа следы босых детских ног...

И, когда отец обещал, что мы поплывем на пароходе, я думал, что он будет похож на тот, что представлял себе, глядя на далекий силуэт корабля у синего горизонта, похож на большие белые пароходы, какие видел в кино и рисовал цветными карандашами в школьных тетрадках. Капитан будет в светлом кителе и морской фуражке, матросы в бескозырках и блузах с окаймленными полосками синими воротниками... У меня самого была матросская блуза и курточка с металлическими пуговицами, на которых

золотились выпуклые якоря. В эмигрантских семьях так одевали многих мальчиков, то ли было так принято, то ли в память о расстрелянном в Екатеринбургe мальчике, который тоже носил матроску и бескозырку...

Я зачитывался растрепанной с выпадавшими страницами книгой «Вокруг света на «Коршуне», были дома и другие книги про русских моряков и флотоводцев, все русское было окружено ореолом, в том числе русский флот:

Наверх вы, товарищи, все по местам!

Последний парад наступает...

Эта песня о не сдавшемся крейсере была своего рода гимном русских бойскаутов, и я самозабвенно пел ее; казалось, доведись быть юнгой на том крейсере, я также самозабвенно бы сражался. Сражался бы до конца...

И сейчас, когда слышу по радио песню о гордом «Варяге», возникает в памяти давнее:

Не скажут ни камень, ни крест, где легли

Во славу мы русского флага...

Печаль о погибших моряках совмещается с печалью обо всем ушедшем с детством. Черная матросская курточка с нашитым на рукав матерчатым якорем, папа, мама, сестренка...

Не скажут ни камень, ни крест, где легли...

Но в Таллинн мы с отцом отправились на маленьком грузовом пароходике. Невзрачная палубная надстройка, закопченная труба, стены единственной каюты под палубой — все было окрашено словно впитавшей угольный дым желто-коричневой краской, а поручни, разлапистый якорь и кнехты были черными, как чугунные

гири. Занятый своим делом единственный матрос в застиранной робе, молчаливый капитан, отличавшийся от матроса лишь фуражкой, да и то не морской, а обыкновенной, какие носили на берегу, — все было не таким, каким я себе представлял.

Из устья Наровы вышли в море ранним утром, с распахнувшегося залива дыхнуло ветром, было сыро и зябко, гряды мелких волн гасили пенный след пароходика, утробно стучал двигатель в машинном отделении, откуда иногда поднимался на палубу подышать прохладной свежестью моря потный кочегар.

Пасмурное утро перешло в день, но солнце пробивалось сквозь облака расплывчатым пятном, дым из пароходской трубы стлался за кормой, добавляя зыбкой серости дню, слева тянулась неровная полоска берега, я хотел, чтобы она скрылась из глаз, и тогда возникнет ощущение беспредельности моря, но берег маячил на одном и том же расстоянии, и прилетавшие оттуда чайки неотступно сопровождали пароход.

За весь день мы только раз подошли близко к омываемым прибоем гранитным валунам; прогремев цепью, пароход встал на якорь неподалеку от морены, откуда приплыли в лодке трое рыбаков и погрузили на палубу пропахшие рыбой бочки. Снова потянулся за кормой теряющийся в морских волнах пенный след, остались позади сползшие в залив гряды камней, а уменьшившийся берег все тянулся и тянулся тусклой каймой, и не было ощущения беспредельности моря.

Но вспоминаю ту давнюю поездку с отцом, и рассеивается сырая пасмурность дня, нет неуютной мороси скучных облаков, грезится белый пароход, безоблачное небо над голубым морем, залита солнцем палуба и льется с граммофонной пластинки музыка старого кино... И похожая на маму женщина в шляпе с широкими полями, щурясь от искрящихся волн, смотрит с парохода на чуть видный солнечный пляж, где пестреют летние зонты и тележки мороженщиц, туда, где теплые волны накатываются на вздымающийся к соснам берег, разрушая недолговечные песчаные замки. И мы с сестренкой где-то там. Может, на белом пароходе, а может, строим что-то из песка возле прозрачных волн ласкового моря. И нет впереди ничего страшного.

На таллиннский причал мы сошли по трапу ранним утром. Волны, стесненные стоявшими у пирса судами, сонно плескались о причальную стенку, пахло мокрой древесиной и ржавчиной, чайки кричали где-то далеко и редко. Дворники в фартуках, собирая в совки ночной сор, мели пустынные мостовые, прошли два трубочиста с лесенками и мотками черных от сажи веревок, запряженная в пролетку гнедая лошадь процокала подковами по булыжникам, и ссутулившийся на передке извозчик безучастно глядел куда-то в даль стиснутой домами улицы. Миновали сводчатые ворота приземистой башни, высокую, словно огромный остро заточенный карандаш, кирху, за шпиль которой уцепился вверху крохотный петух. Все еще дышало ночной прохладой — гулкие тротуары, влажные от росы газоны, хранящий ночную тень густой плющ. Но уже розовели освещенные снизу невидимым солнцем редкие облака над городом, вспыхнул золотом петушок, засветились шпили и покатые крыши, блеснули стекла чердачных окон...

— Пап, почему на лютеранской церкви петух?

— Потому что он будит... Знаешь, что сказал Иисус Христос своим ученикам в Гефсиманском саду перед тем, как за ним пришли люди, чтобы его распять? — «В эту ночь вы все отречетесь от меня». И апостол Петр ему ответил: «Если все они и отрекутся, я не отрекусь». Тогда Христос сказал: «Истинно говорю тебе — прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня».

— И он отрекся?

— Да... А когда петух утром прокричал, Петр вспомнил слова Иисуса Христа и заплакал.

Узкие улочки, фасады бюргерских домов, золоченые кренделя над дверями булочных... Мысленно снова вижу, как идем с отцом вдоль старых крепостных стен, проходим через Ратушную площадь, поднимаемся по ведущим в гору ступеням...

Через сорок лет я приеду в Таллинн, будут те же узкие улочки, те же фонари и резные флюгера на крышах, я увижу кирху со стрельчатыми окнами и длинным, словно огромный заточенный

карандаш, шпилем, но что-то изменится, будто все не настоящее, будто лишь декорации прошлого города...

— Устал? — спрашивает отец.

Клацают подковы извозчичьей лошади, проезжает автомобиль, и запах сгоревшего бензина напоминает мне давящий виски запах наркоза. Кружится голова... Мы долго сидим на гнутой уличной скамейке возле православного собора, слабо пахнет какими-то цветами, а с кирпичных стен скорбно глядят поверх нас на мирскую суету лики святых.

И опять лоснящиеся бульжниками мостовые, увитые плющом слепые стены, башни над крутыми крышами, ведущие куда-то стершиеся плиты тротуаров. На вершине гранитной волны ангел с распахнутыми крыльями простер в сторону моря крест, неподалеку парк и словно свитые из толстых канатов столетние вязы, лебеди на тенистом пруду у белого президентского дворца. Прежде я видел лебедей лишь на картинках, читал сказку про гадкого утенка, но то были белокрылые птицы, а здесь, то запрокидывая на спины гибкие шеи, то величаво поднимая головы с красными клювами, скользили по отражавшей небо и деревья поверхности пруда черные лебеди.

— Пап, а твой однокашник Кудрявцев знает, что мы приедем к нему?

— Конечно, знает. Я посылал ему из Нарвы открытку.

Они еще не были старыми — отцу шел всего сорок третий год, но они были старше меня на целую жизнь. Они обнялись при встрече — отец и его седеющий со светлой бородкой друг, а со стен квартиры, куда мы пришли, отовсюду глядели на них молодые лица. Когда-то запечатленные на фотографиях кадеты и юнкера — одни, раскиданные по свету, еще живые, другие — испившие горькую чашу до дна, бог весть где погибшие. Мундиры с глухими стоячими воротниками, вензеля на погонах и широких пряжках поясов... Последние офицеры русской армии.

— А вот этого узнаешь?

На снимке отец. Он сидит на садовой скамейке, надвинув на брови фуражку с кокардой, и испытующе глядит из своих шестнадцати лет. Впереди мировая война, сухие донские степи,

разоренные станицы, Крым, Галлиполи, эмиграция... Он не знает, что все это будет, что буду у него я, будет моя сестренка. Не ведает, что ждет его и всех нас. Все еще впереди, он в той исчезнувшей жизни, за ним листья, тогда живые, но теперь облетевшие, под его ботинками трава, давно ставшая землей.

И то, что было тогда в Таллинне, все сегодня в далеком прошлом — и листва, и трава — все стало землей, смешалось с прахом... И он... И они... А тогда я пытался представить отца молодым, каким он был на той фотографии, и не мог. Только стал замечать, что виски его начали сесть, появились морщинки на лбу... Но время в детстве течет так медленно. И я не думал, не мог думать, что он когда-нибудь умрет. Отец будет всегда жить. Он и мама. Всегда. Они не могут умереть...

Вечером к Кудрявцеву пришли еще двое однокашников. Один — сухощавый, подвижный, бывший артиллерист; другой — располневший, часто задумывающийся о чем-то, а когда его отвлекали от дум, он невпопад улыбался, но все равно улыбка получалась грустной.

Хозяин накрыл стол, зазвенели сдвинутые рюмки:

— За наш кадетский корпус!

— Его нет...

— Тогда за Россию!

Это отец. Позапрошлым летом он возил меня к границе, и мы стояли у отгородившей Россию колючей проволоки. Моросил дождь, темный ельник, поникшие березы, подступившие к пограничным столбам кресты на деревенском погосте, гранитные валуны, которых так много в эстонской земле, — все было мокрым и грустным. Дождевые капли копилась на проволоке и неслышно падали на вздрагивающие травинки, на репей, на седые головки отцветших одуванчиков. Отец молча смотрел туда, где начиналась Россия, и мне казалось, что он плачет.

Его мать умерла в Ленинграде, но там еще были его сестры и брат: мой дядя Володя, мои тетя Оля, тетя Наташа, тетя Вера... Я не мог представить ни их, ни их жизни. Я никогда их не видел, не слышал их голосов. Но отец любил их, они были частью его

оставшейся по ту сторону границы жизни. Я так и не встретился с ними, они все умерли, но тогда еще жили.

— За Россию...

Потом, через много лет уже в России я не раз буду сидеть вот так за столом, участвуя в хмельном разговоре. Будет он о быте и работе, будут кого-то обсуждать и осуждать, но не будет разговора о России. О ней — это они, отринутые, потерянные, разлученные с Родиной, но не утратившие к ней любви.

Я слушаю о чем они говорят и слежу за отцом, чтобы он не пил много. «Если увидишь, что я пьянею, толкни ногой», — тихонько сказал он мне перед тем, как сесть за стол. Я не знал, сколько это — много, я никогда не видел отца пьяным. Он почти не пил. Лишь немного красного вина под Новый год, да еще когда крестили мою сестренку Светлану и угощали у нас дома батюшку, смуглого, с окладистой черной бородой отца Николая. Тогда, недолго побыв со взрослыми, я ушел в кино на «Королеву Кристину». Бряцали доспехи, сшибались, высекая искры, мечи, и, молясь и любя, глядели с экрана огромные глаза королевы Кристины — Греты Гарбо... Когда вернулся из кино, мама уже убрала со стола, под абажуром лежал потерявшийся там, где стояла детская кроватка, неяркий свет лампы, и во всем была тихая радость — в мою жизнь вошла сестренка...

Сейчас она осталась дома с мамой, а здесь за столом звучали мужские голоса, глядели в окно зыбкое балтийское небо, кусок слепой кирпичной стены, крона каштана и скат черепичной кровли. Было почти светло, но наступила ночь, и бурые черепицы казались темными.

— Шура погиб в Испании...

— Зачем ему была нужна Испания?

— Он хотел вернуться в Россию.

— Наверное, Гитлер нападет на нее.

— Тогда пойдем воевать за Советы.

— Господи, сохрани и помилуй Россию...

Я толкаю отца под столом. Он не обращает внимания, и я опять ударяю его носком ботинка.

— Не надо, Дима. Не надо.

Сидящие рядом смеются, и я краснею от смущения. Откусываю кусочек жесткого печенья, но мне еще больно глотать.

А они опять о России, о прошлом, о том, что мило их сердцу и что мне тоже дорого, потому что дорого им. Много лет спустя я буду цепляться за эту память, за те их воспоминания, потому что это об отце, о той, прошлой, жизни, которую мы прожили вместе, и о той, которую я мог только представить. О всей его жизни, с его болями и любовью, с его надеждой и верой.

И была еще последняя ночь в Таллинне. Постелив какую-то рухлядь, спал на полу отец, похрапывал в соседней комнате Кудрявцев, а я долго ворочался на диване, и выпирающие пружины его поскрипывали где-то в глубине, будто сердились или жаловались.

Размыты сумерками хрупкой ночи реликвии на стенах: кадетская фуражка, эмблемы, погоны, фотографии. На ближайшей кто-то, опершийся на спинку кресла, чей-то пробор, усы, на другой фотографии молоденький кадетик, дальше такие же юные, плохо различимые лица. Мальчишки, когда-то любившие и кем-то любимые, во что-то верившие, чему-то присягавшие. Колеблются сумерки, шевелятся немые губы. Что они могут сказать, о чем предупредить?

За оконной занавеской белая балтийская ночь. Где-то еще неведомая мне холодная сибирская река и обрыв на берегу, а тут в призрачной тишине кирпичные башни, увитые плющом стены на городском валу, где-то неподалеку спящий парк, старые вязы и черные лебеди, где-то близко ангел с распахнутыми крылами, протянувший с гранитной волны в сторону моря крест... И уцепившийся за шпиль кирпичи, ждущий утра, чтобы разбудить людей, петух... Но когда прокричит он, уже трижды отречется от Христа апостол Петр...

Болит горло. Чайки кричат. Вода, серое небо. Холодная сибирская река, баржа... Нет, это море, чайки. Чайки кричат. Нет, это кричит детство.

Все кануло в Лету. Разлуки без проводов, смерти... Как умирал отец, что было перед его взором в последнюю минуту? Не знаю, ничего этого не знаю. Тайга, ров, колючая проволока... Такая же стальная проволока, что тянулась на пограничной полосе, перед которой мы когда-то с ним стояли. Шел дождь, и на глазах его были слезы.

Ты верил в Россию, ты учил меня верить в нее. Что думал ты, прощаясь с жизнью? Что сказал бы мне перед смертью? Верить ли в Россию? Скажи, отец, верить ли?

Скажи...

1993 г.

В ПЮХТИЦЫ

В ПЮХТИЦЫ мы с отцом ходили, когда мне шел одиннадцатый год. Счастливой жизни было отпущено еще пять лет, я пока не знал, что такое ГУЛАГ, спецпереселенцы, комендатура, не ведал, что существует на свете такая река — Васюган...

Упомянул его и боюсь — вот-вот опять понесет меня память по этой реке вдоль унылых тальников и отмелей с замытыми песком корягами, повлечет по долгим и коротким плесам мимо сползающих в воду с подмытых круч обреченных березок и осин, мимо отраженных черной водой слоистых крутояров, с которых глядят пустыми глазницами осевшие в землю избы. Но нет, хочу вспомнить, что было еще до той, вошедшей в мою судьбу таежной реки, до той моей жизни в прилепившейся на источенном стрижиными гнездами обрывистом берегу убогой деревеньке. Хочу вспомнить о более давнем, сбереженном памятью, как нечто трогательное и светлое...

Странно, порой разговариваю с кем-нибудь об обыденном, повседневном, не связанном с прошлым, и вдруг на мгновение возникнет перед мысленным взором кирпичная арка входа во двор какого-то дома, или явственно вижу огораживающий чей-то сад длинный, окрашенный зеленой краской забор и приоткрытую в нем калитку. Когда-то в городе, где побывал лишь однажды, шел по незнакомой улице вдоль этого забора, миновал арку входа в стиснутый старыми домами двор, я ничего и никого не искал, просто было время до отхода поезда пройти недалеко от вокзала, но словно ослепительно вспыхнул тогда рядом магний, и запечатлевшаяся картинка, спустя годы, неожиданно всплывает из глубины сознания и тут же тает в нем, чтобы когда-нибудь непрошеной на мгновение появиться и опять исчезнуть. И непонятно — отчего именно тот город, та арка с отвалившейся

штукатуркой, тот длинный зеленый забор с полуотворенной калиткой...

Вспоминая начало нашего пути в Пюхтицкую обитель, вижу яркую, похожую на расписной теремок церквушку неподалеку от железнодорожной станции, до которой мы доехали тогда на поезде, и откуда предстояло идти дальше пешком. Остался в памяти привокзальный буфет — пустой зал, несколько покрытых несвежими скатертями столиков, свисающая с потолка искрученная клейкая лента с прилипшими мухами, большое окно, откуда видны товарные вагоны и испачканная мазутом цистерна, на которой крупными буквами выведено «Shell»...

Белокурая официантка с кружевной наколкой на прическе, подойдя к нам, спросила по-эстонски — что подать. Помню — молоко, которое она принесла в граненых стаканах, было кислым. Когда отец рассчитывался, он, стесняясь, ей об этом сказал, официантка тоже смутилась и покраснела. Не знаю, почему это сохранила память — безлюдный привокзальный буфет, зардевшаяся молоденькая эстонка...

А потом был казавшийся бесконечным, нагретый солнцем тракт. Близилось к концу еще погожее эстонское лето, небо светлело неяркой голубизной, растворявшейся в дымке над невидимым за лесом краем земли, где остался наш дом. Помню раскиданные по поросшим травой полянам стожки сена, созревающие на разделенных межами полях хлеба, уходящие куда-то колеистые проселки. Дорога пустынна, безлюдно вокруг, и долго маячат нам вслед неподвижные крылья одинокой ветряной мельницы. Полосатые столбы ведут неведомо откуда начинающийся отсчет километрам тракта, вдоль которого нас сопровождают сбегаящиеся впереди телеграфные столбы с провисшими проводами. Бывало, в поселке, где мы тогда жили, прикинешь ухом к такому столбу, и сразу возникнет идущий откуда-то изнутри него ровный гул — будто гудит рой пчел или слились невнятные голоса многих людей, спешащих что-то сообщить тем, кто от них далеко-далеко... Хотелось сейчас прислониться к такому поблескивающему белыми чашечками изоляторов столбу, послушать таинственный гул, но надо

шагать вровень с отцом, а дорога кажется всё длиннее, всё бесконечней...

— Устал, Дима?

— Немножко.

— Тогда устроим привал... Во-он у того камня, — кивает отец на темнеющий у опушки леса крупный валун.

Сойдя с дороги, я приваливаюсь к этому тысячи лет назад притащенному сюда ледником, поросшему коротким сухим мхом камню. Отец садится рядом, и мы оба молчим. Пахнет можжевельником, примятой травой, подрагивает распушенными крылышками прильнувшая к лютику бабочка-кирпичница, по склонившейся травинке ко мне ползет божья коровка. Я подставляю ей ладонь, божья коровка в нерешительности замирает, затем поворачивает обратно. Медленные облачка наплывают на солнце и, когда ненадолго затмевают его, из-за леса, что по ту сторону дороги, вместе с дуновением ветра набегают тень. Листья начинают тревожно перешептываться, но опять светлеет за трактом, свет стремится к нам, и листва шепчется усыпляюще спокойно.

Почему-то я начинаю думать о маме, которая сегодня утром, провожая нас в дорогу, осенила обоих крестным знаменем. Она всегда крестит отца, когда провожает его на работу, крестит меня, когда я ухожу в школу. А сейчас, наверное, держа на руках мою недавно родившуюся сестренку, сидит в палисаднике на скамейке, которую нынче сделал отец...

— Папа, — окликаю я его. — Если подняться отсюда на аэростате, можно увидеть наш дом?

Отец не отвечает.

— Ты ведь высоко поднимался... Ну, на войне, когда наблюдал с аэростата за немецкими окопами и сообщал, куда стрелять?

Отец молчит, он не любит вспоминать войну, а может, ему просто не хочется сейчас разговаривать.

— Мама рассказывала, что раз прилетел немецкий аэроплан, и ты чуть не погиб... Мама говорит, что в это время она стала молиться за тебя... Как она узнала? Ты же был далеко.

— Понимаешь, люди, когда тем, кого они любят, что-то очень угрожает, чувствуют это, — откликается наконец отец. — После твоя мама мне написала, что почувствовала, что со мной что-то случилось, и начала молиться за меня перед иконой Николая Чудотворца. Как раз в это самое время.

Если бы папа тогда погиб, меня бы не было на свете. И его сейчас бы не было. Я подвигаюсь к нему ближе и ощущаю тепло его плеча.

— Разве молитва может спасти на войне?

— Наверное, иногда... Если бы всегда спасала, никто бы не погибал.

— Немцы ведь тоже за своих молились?

— Все молились — немцы, французы, австрийцы, русские. Молились за себя и убивали других. Потом русские стали убивать друг друга.

На тракте показывается впряженная в телегу с молочными флягами пегая лошаденка. Свесивший с телеги босые ноги возчик, завидев нас, дергает вожжи; понурая лошаденка, обиженно мотнув головой, нехотя рысит, мелькая крупной белой пежиной, и долго еще к нам доносится погромыхивание колес и пустых фляг.

— А правда, папа, когда где-то мчится конница, если даже далеко отсюда, ляжешь на землю, можно услышать топот копыт?

Хочется поговорить с отцом о чем-то интересном, но он дремлет или думает о своем. Бабочка сорвалась с цветка и улетела. Божья коровка опять ползет ко мне по травинке.

— Ты, папа, на войне много ездил верхом?

— Разумеется, — отзывается отец, будто откуда-то издали.

— А после войны?

— Как-то раз после...

Телеги уже не слышно, только рассыпчато стрекочут в траве кузнечики.

— Зачем?

— Для кино...

Я смотрю на дорогу, но мне кажется, что отец чему-то улыбается.

— Расскажи, папа, — пристаю я.

— Ну, приехала кинокомпания снимать фильм... Взяли меня к себе на работу поденщиком. Помогал им декорации устанавливать, ящики с реквизитом перетаскивал... Не знаешь, что такое реквизит?

— Всекие необходимые вещи для кино. Потребовалось им снять эпизод, где артисту надо проскакать во весь опор верхом. И артистке рядом с ним на своей лошадке. Артистка умела ездить верхом, а он нет. Подсадят его в седло, пока лошади идут шагом, он держится, а как только переходят на рысь, сползает как мешок. Режиссер из себя вышел: «Allez vous... Есть тут кто-нибудь, кто может в седле держаться?» Говорю: «Я могу, месье...»

— Почему ты его назвал «месье»?

— Так это во Франции было. Ты же знаешь, я после войны в Ницце жил. Ну, режиссёр мне и говорит: «Покажите, как вы умеете». Проехал рысью, потом галопом. Конь с норовом, но меня слушается, лошадь — она чувствует всадника. «Tres beau, mon ami», — говорит он, — сделаем так, пока Поль будет ехать медленно, мы снимаем его, когда лошадям надо менять аллюр, пересаживаетесь в седло вы, mon ami. Au revoir...

— Ты, папа, много французских слов говоришь, — перебиваю я.

— Да, да, конечно... Ну, а дальше так — Полю помогали усесться в седло, и он тихонечко ехал рядом со своей партнершей. Затем съемку прекращали, Поль слезал, я, одетый точь-в- точь как он, занимал его место и пришпоривал коня. Актриса ударяла хлыстом свою лошадку, кони брали с места в карьер, и нас снимали издали. Voila tout... Вот и всё.

— Потом ты видел этот фильм?

— Один раз видел.

Как давно это было... Давным-давно, когда всё было другим. Всё, всё... Но, может быть, где-то сохранилась эта кинолента, и в один прекрасный день кто-то достанет её из покрытой пылью коробки, зашелестит проектор, завертится бобина, и возникнут на экране в немоте сменяющихся черно-белых кадров удаляющиеся всадники.

Ожившие тени исчезнувшей жизни, в которой мой отец исполнял чью-то чужую роль.

Но, когда мы с ним сидели у придорожного валуна, я не думал об этом, просто было интересно, что папу снимали для кино. Наплывало затенье из-за дороги, тускнели краски, беспокойно трепетали листья от порывов ветра, но опять бегущий по земле свет гнал прочь перетекавшую через нас пугливую тень. Я прожил тогда малую часть своей жизни, не было у меня тяжкого бремени воспоминаний, было хорошо и спокойно.

По скольким разным дорогам довелось потом пройти и проехать — по ближним и дальним, прямым и окольным, торным и ухабистым... Какие-то из них забылись, вспоминая другие, я вижу каждый поворот, каждый мостик и каждую стлань....

Помню, когда мне было пять или шесть лет, мы с мамой шли по лесному проселку где-то около Печор. Дорога то полого поднималась в гору, то вела вниз мимо песчаных карьеров. Шли, разувшись, мама несла туфли в руке, за моей спиной висели связанные шнурком ботинки, рубашонка взмокла от пота, хотелось пить. На каком-то подъеме мы догнали сгорбленную старуху, тяжело тащившую завернутую в скатерть швейную машину. Старуха посмотрела на маму, глаза ее были страдальческими. Она не просила помочь, но мама сунула мне в руку свои туфли, взяла у старухи ее ношу и понесла на себе. Не знаю, куда и зачем мы шли, помню нагретый солнцем песок, в котором утопали босые ноги, помню горячий запах смолистой хвои, усыпанный опавшими шишками голубой мох за обочинами и лежащие, как шпалы, поперек дороги тени. Вижу бредущую передо мной по сыпучему песку с завернутой в клетчатую скатерть чужой швейной машиной хрупкую малосильную маму... Частица какой-то давней моей и её дороги, частица маминой и моей жизни.

Видение другой дороги, той, по которой я шел с отцом в Пюхтицы, — монастырь на горе в лучах заходящего солнца. Сокращая путь, мы тогда свернули с тракта на стиснутый лесом проселок, порывы ветра улеглись, угасший день перешел в тихий вечер, и смягчившиеся очертания того, что было вокруг, обволокла прохладная сень. Где-то

гулко ударил колокол. Еще не смолк первый раскатистый удар, как, догоняя его, поплыл второй, за ним третий...

— Бом-м-м... Бом-м-м... Бом-м-м, — наплывало сверху; звонили неподалеку, но из-за надвинувшихся к дороге деревьев монастыря не было видно.

— Бом-м-м, — властно ударили на колокольне в последний раз, смолк зовущий к вечерне благовест, но в нежном палевом небе, откуда, казалось, он исходил, всё еще чудился его тающий отголосок. И, словно дождавшись, когда он замрет, за расступившимся лесом открылся освещенный закатом собор, к которому вела поднимавшаяся в гору дорога. Окружавшую монастырскую обитель невысокую кирпичную ограду и вершины деревьев по склону уже застила вечерняя сень, но увенчивающий собор купол и такие же светло-зеленые главки на покатых плечах храма горели в прощальных лучах солнца. Сияли кресты и отражавшие огненное зарево стекла в узких прорезах окон под куполами, светло алели еще не поглощенные надвинувшейся снизу тенью верхние своды соборных стен, и весь этот монастырь с его пятиглавым собором, золотыми крестами и шатровой звонницей словно сошел с писанной яркими красками иконы.

На ночлег мы устроились в монастырской гостинице. Покуда отужинали, на дворе совсем стемнело, но спать не хотелось, и мы вышли в монастырский сад. Сквозь черные силуэты деревьев, отбрасывавших на дорожки еще не четкие пятна теней, матовым золотом светила всходившая луна, где-то переливчато журчала вода, и ночная пичужка, будто кого-то потеряв, певуче настойчиво спрашивала: «Ви-тя? Ви-тя?» Неподалеку от гостиничного крыльца возле слабо белевшей стены монастырского строения, в нише которой теплился лампадный огонек, светлело чье-то платье, и негромко разговаривали двое. Над вознесенными к ночному небу крестами собора невесомым покровом повисло продолговатое, почти прозрачное облачко, над ним мерцали светлячки звезд, и, казалось, их становится всё больше и больше. Вдруг в той стороне, где остался наш дом, одна из них, сорвавшись с небосвода, покатилась вниз и угасла.

— Отлетела чья-то душа к Богу, — произнес женский голос там, где в неверном свете белело платье. Я притронулся к отцовской руке:

— Почему отлетела душа?

— Такое поверье — когда падает звезда, кто-то умер, — приглушенно ответил отец.

Казалось, сейчас можно разговаривать только так — вполголоса о чем-то неземном и божественном.

И опять из бездны неба, стремительно полетев вниз, сторела звездочка.

— Звездопад, — сказали в темноте.

— Звездопад, папа, это что?

— Когда падает много звезд.

— Значит, сейчас умирает много людей?

Отец не ответил.

— Звездопад — если война?

— Нет-нет... Просто так бывает августовскими ночами. Это сгорают над землей астероиды... Представляешь, может быть, некоторые из них блуждали во Вселенной миллиарды лет. Я же тебе рассказывал про звезды и планеты... Хочешь, когда вернемся, куплю тебе книжку об астрономии?

— Купи, папа.

Усеченная луна поднялась выше, облачко стояло на месте, только еще вытянулось и посветлело. Высоко-высоко над ним белесым туманом пролег Млечный путь и где-то там в вечной ночи странствовали холодные осколки, которые, погибая над Землей, на мгновение становились звездами.

— Смотрите, смотрите, — еще одна душа отлетела...

Метеор вспыхнул и угас где-то в другой стороне неба, я его не видел. Пряно пахло метеолой и скошенной вдоль дорожки травой, тени стали черней и узорней.

В том году в книге, взятой из библиотеки Народного дома, я прочел, что души умерших переселяются в тех, кто родился после, но

люди не помнят о том, что было в их предыдущей жизни. А на уроках Закона Божьего, которые бывали в школе по вторникам, дьякон Август Титович говорил, что после смерти души грешников попадут в ад, а праведников — в рай, где встретятся с теми, кого они любили в этом мире. Глядя в ночное небо над монастырским садом, я подумал, что настанет время, когда не будет в живых ни стоящего рядом отца, ни мамы, которая ждет нас в той стороне, где горит самая яркая звездочка. Как я буду без них? Я так люблю их на этой земле... Знаю, что они не могут жить вечно, что все равно умрут, но пусть это произойдет через много-много лет... Пресвятая Богородица, сделай так, чтобы они жили долго-долго!

Дома на кухне, где отец допоздна читал и писал вечерами, возле книжной полочки, на которой стояли самые нужные ему книги, висел вставленный в самодельную рамку портрет лысенького старичка с седой раздвоенной бородкой. Похожий на святого угодника, старичок оперся засунутыми в рукава руками на лежавшую на столе толстую книгу, и его глубоко запавшие в орбиты глаза были добры и задумчивы. Отец говорил, что это философ Николай Федоров, веривший, что придет время, когда человечество сможет воскресить ушедшие из жизни поколения и заселить ими далекие миры. Может быть, вон ту страшно далекую трепетную звездочку, на которую я смотрел, прося продлить жизнь родителям...

Рядом в освещенном луной монастырском саду тоже говорили о смерти и воскрешении:

— Настанет день, и они восстанут из гроба... Сей день желанный, от века чаемый, Господь через нас сотворит...

А звезды все падали и падали, безмолвно прошивая огненными полосками ночное небо.

Наутро мы пошли на богослужение в собор. Служба уже началась, потоки утреннего света лились из-под свода на немногочисленных богомольцев и на иссиня-черные клобуки стоящих особняком монашек; седенький священник, взмахивая позвякивающей цепочкой кадильницей, из которой рваными облачками вырывался сизый дымок, возглашал ектению, и хор однозвучно-щемяще вторил: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, поми-и-луй!». Сладко пахло ладаном, мерцали слабенькие огоньки лампад,

оплывавшие свечки потрескивали перед образами и лежащей на аналое Чудотворной иконой Успения Божьей Матери. Раз в год богомольцы выносили ее из монастыря и шли с ней по ближним и дальним приходам, где по этому случаю служились молебны. Начав путь в Пюхтицах, на третий день икона прибывала в рабочий поселок, где мы тогда жили. Встречала ее густая толпа прихожан. Осенив себя крестным знаменем и прикоснувшись губами к воздетому застекленному киоту, каждый, встречая икону, склонившись, торопливо проходил под ней между расступившимися людьми и присоединялся к крестному ходу. Старые и молодые, мужчины, женщины, дети... И я, встретив пюхтицкую святыню, шел за ней вместе со всеми, и мама шла, и отец. Звучали тропари, опускалась и вздымалась волна голов, сливались воедино два встречных людских потока, и, чуть покачиваясь, плыла над ними Чудотворная икона.

— Матушка владычица, спаси и помилуй, — шептали рядом. — Царица небесная, спаси и помилуй нас.

Изображенная неведомым иконописцем усопшая Дева Мария возлежала на пурпурном одре, повязанная платком голова её была в круге золотого сияния, рядом стояли святые угодники, два белокрылых ангела, и склонившийся над земной матерью Иисус Христос держал крохотного спеленутого младенца.

Вызывали благовест колокола на потемневшей от времени и заводского дыма звоннице, колыхались парчовые хоругви, стекло киота отражало голубое небо...

А здесь в храме оклад лежащей на аналое иконы золотили свечные огоньки, клубился благовонный дым, и старческий голос священника звучал то протяжно напевно, то скороговоркой, возносясь с голосами певчих под купол в просторную воздушную сень.

Когда после богослужения мы вышли на залитую солнечным светом теплую паперть, я спросил у отца — что это за младенец, которого держит Христос возле усопшей Божьей Матери?

— Это покинувшая тело её душа, — ответил он.

И опять, как прошедшей ночью, когда, падая, сгорали, не долетев до Земли, звёзды, я стал думать — будет ли моя душа где-то жить, когда я умру, или уже никогда не увижу того, что будет после меня в этом светлом мире?

Во второй половине дня мы отправились навестить княгиню Шаховскую, во многом благодаря стараниям и денежным пожертвованиям мужа которой была возведена Пюхтицкая обитель. Сам князь скончался в конце прошлого века, и был погребен здесь же на Пюхтицкой горе, а в построенном им при монастыре доме жила овдовевшая княгиня, которой было уже девяносто лет и которую посещавшие обитель навещали в знак уважения к ней и признательности к её покойному мужу.

По пути нам повстречались две куда-то шедшие черницы. Одна из них, коротко глянув на отца из-под надвинутого на брови черного платка, тут же опустила глаза, и я словно ощутил ее мимолетное смятение. Почему-то воссоединились в памяти — яркий солнечный день в монастырском саду и, обрамленное черным, бледное женское лицо с мгновенно потупившимся взором...

Маленькая сухонькая княгиня в белом чепце и таком же белоснежном платье, из обвисших рукавов которого выдавались тонкие кисти худых рук, приняла нас возле своего дома, сидя в плетеном кресле у низенького столика, на котором лежала початая коробка с мармеладками. Поодаль смиренно стояла прислуживающая княгине послушница, и так разительно были непохожи — пригожее лицо молодой послушницы и испещренный морщинами изжелта-белый лик старухи... На заросшей желто-фиолетовыми анютиными глазками клумбе и огненно-рыжих цветках обвивавшей стойки крыльца настурции трепетали блики проникавшего сквозь березовую листву солнечного света, сладко пахло кипящим где-то малиновым вареньем, спелыми яблоками и чем-то неуловимым, везде здесь присутствовавшим, монастырским.

Отец приложился губами к покрытой крупными веснушками руке княгини, я, шаркнув, поклонился, и старуха пригласила нас сесть в придвинутые к столику кресла. Голос у неё был резкий, говорила она громко, вероятно, плохо слышала сама, но взгляд был

пронзительным и цепким. Перемолвившись несколькими фразами с отцом, она обратилась ко мне:

— Тебя как зовут, мальчик?

Хотя отец меня уже ей представил, я громко повторил:

— Дима.

— В каком классе занимаешься?

— Перешел в четвертый.

Княгиня строго посмотрела на меня и подвинула ближе коробку тускло блестящих мармеладок:

— Угощайся, мальчик.

— Спасибо, — поблагодарил я, но к мармеладкам не притронулся. Лишь только я увидел княгиню, перед глазами возникла иллюстрация в стоявшей на отцовской книжной полке книге — такая же, одетая во всё белое, старуха — Пиковая дама. Я уже читал Пушкина и боялся её... Ёрзал на скрипучем сиденье и не слушал, о чём беседует старуха с отцом.

Когда стали с ней прощаться, она подозвала послушницу и велела что-то принести. Та ходила в дом и вернулась с книгой в светлой обложке. Княгиня протянула ее отцу, и старческое лицо стало грустным и добрым. Почему-то мне стало ее жалко...

В этой книге князь Шаховской рассказывал об истории Пюхтицкого монастыря. Я ее не прочел. Помню лишь фотографию — еще не старое обрамленное бородкой благородное лицо — князь Шаховской, ревнитель православия и Пюхтицкой обители.

Возвращаясь от княгини, мы еще раз зашли в собор. Там так же теплились огоньки в фиолетовых чашечках перед образами, с которых глядели лики святых и архангелов, так же потрескивая горели в высоких подсвечниках свечи у ступеней алтаря, где под золотой полусенью возлежала икона Успения Божьей Матери, но было безлюдно, просторно, и в гулкой пустоте звучал одинокий голос монотонно читавшей Евангелие черницы.

Домой, кроме той книги о Пюхтицах, отец привез приобретенный в монастырской лавке образок Николая Чудотворца. С терпко

пахнувшей лаковыми красками дощечки мудро и участливо глядел облаченный в ризу святитель, держа в левой руке Священное писание, а правую подняв для благословения. Когда через пять лет отца пришли арестовывать, эту иконку мама сунула ему в карман куртки, в которой его от нас навсегда увели.

В Эстонию из Сибири я приехал спустя сорок с лишним лет. Побывал в местах, где прошло детство, где всё осталось, но всё за прошедшие годы стало другим. Из Таллинна в Ленинград, где заранее у меня был взят билет на самолет до Томска, ехал в междугороднем автобусе. Гул двигателя, асфальтовое шоссе, ухоженные поля... И где-то за зеленью леса медленно удаляющиеся шпили одиноких кирх и черные терриконы перегоревшего сланца. В городке между Раквере и Нарвой мельком увидел похожую на расписной теремок трогательную церковку, и кольнула память — вот отсюда мы с отцом когда-то отправились пешком в Пюхтицы. Вспомнил освещенный заходящим солнцем монастырь, вспомнил лунную ночь, звездопад...

Сегодня, спустя десятилетия, я знаю, что случилось после с отцом, с мамой, со мной и сестренкой Светланой, которая, прожив на свете всего шесть лет, умерла в один день вместе с мамой от голода в ссылке на Васюгане. Я знаю всё, что тогда предстояло, а теперь осталось в прошлом. Но, как и тогда, сегодня мне неизвестно будущее, я не знаю, что ждет меня и тех, кто вошел в мою взрослую жизнь и дорог мне на старости лет.

Знаю только, что, когда умру, по-прежнему будут эта земля и вечное небо над ним, каждый год так же нежно будут шептаться листья весной, а затем, поредевшие на отходящем к зимнему сну лесу, будут печально переговариваться осенью... Будут расцветать и увядать те же цветы, будут обвивать на лесных полянах чьи-то босые детские ноги те же травы, и где-то там далеко-далеко на западе будет та дорога к Пюхтицкому монастырю.

Но я уже не буду видеть красоты этого мира, не буду слышать, ощущать... Исчезнет моя измученная память, и никто не расскажет, как мы с отцом шли по той дороге, что я думал, о чем мы говорили.

А может быть, где-то за гранью земной жизни ты встретишься с теми, кого так мучительно любил? Встретишься и заплачешь

навзрыд...

Помню яркий солнечный свет, когда в далеком детстве после долгого беспмятства я открыл глаза и увидел над собой мамино лицо. Может, в тот миг, когда покину этот мир, тоже увижу свет и склонившуюся ко мне маму. Увижу сестренку...

А, может, правда, что души тех, кто ушел из жизни, продолжают жить в родившихся после? Недавно ехал в автобусе, и крохотная девочка на руках сидевшей напротив незнакомой женщины неотрывно глядела на меня. Мать пыталась ее отвлечь, но девчужка упрямо отворачивала головку в мою сторону и пристально смотрела, смотрела, будто пытаясь что-то вспомнить. И вдруг личико ее просияло в улыбке. И потом, когда та женщина с ребенком сошла с автобуса, а ее место занял кто-то другой, мне еще долго виделась та радостная детская улыбка. Может, эта малютка знала меня в своей другой жизни. В той, когда у меня была маленькая сестренка Светлана... Только разве дано теперь меня узнать?.. Тогда я был мальчишкой, теперь — старик. Но как хотелось, чтобы детская душа узнала меня...

Неужели дано быть вместе только раз, только один раз?

1998 г.

И ЗАРЫДАЕТ НА ПУСТЫРЕ ОДИНОКАЯ СКРИПКА...

ПОРОЙ у меня возникает странное ощущение, что детство и отрочество мои совпали с детством и отрочеством моих родителей. Разумеется, всё у меня было иначе, совсем-совсем по-другому. Но, старея, я всё острее чувствую их время, их эпоху. Чернильница с похожей на купол церковки латунной крышечкой, серебряная ложечка с чьей-то монограммой, чайная чашка со стершейся позолотой на ободке пробуждают в моей душе что-то до боли трогательное и близкое.

Будучи подростком, я познавал историю и природоведение по тем же книгам, по которым познавали их мои родители, в школе учил наизусть те же стихотворения, которые когда-то выучивали они, я читал те же, кажущиеся сегодня наивными повести, которые читали в том возрасте отец и мама. Нет, их книги остались в покинутой ими России, но такие же после революции и гражданской войны были в книжных развалах на булыжных площадях нарвского и тартуского рынков, где я бывал с родителями. Книги, изданные в типографиях Сытина, Ефрона, А.Маркса, фолианты «Золотой библиотеки», потрепанные томики приложений к «Ниве», разрозненные комплекты журналов «Задушевное слово», «Мир приключений», «Вокруг света»... Страницы их несли отпечаток прошлого, невыветрившийся запах прежних библиотек, прежней жизни. Но некоторые уже слабо пахли тленом... Всё вокруг изменилось, было другим, жили мы не в России, но привнесенное в мою жизнь прошлое моих родителей было частью уже моего детства.

Когда вижу репродукции картин великих мастеров эпохи Ренессанса или портреты, рисованные русскими живописцами восемнадцатого и девятнадцатого столетий, я преклоняюсь перед их талантом, однако запечатленные ими лица, одежда, драпировки, окаймленные багетными рамами натюрморты — всё это для меня

нечто холодное, застывшее в давнем прошлом. Но вот разглядываю в чьем-то семейном альбоме фотографии, сделанные в начале нашего века, и начинает казаться, что и сам я из времени, запечатленного на этих уже бледнеющих фотографиях, из черно-белого кино, в котором оживают фигурки куда-то торопящихся людей, беззвучно скачущие лошади, потряхивающиеся экипажи, дымящие паровозы, словно склеенные из реек аэропланы в давным-давно растаявших облаках... Начало двадцатого века, канун великих потрясений, чья-то молодость, чье-то детство... Сколько раз будешь смотреть старую киноленту, столько раз опять и опять будет возникать на полотне экрана всё то же — в ту же сторону, всё туда же будут идти люди, скакать кони, мчаться автомобили, лететь аэропланы. Никого не вернуть, никого не предупредить, никого не вернуть... Ничего не предотвратить.

Есть у меня с десятков случайно попавших ко мне дореволюционных почтовых открыток с видами городов под ярко-голубым небом, репродукциями картин и типичными для русского стиля рисунками Елизаветы Бём. Не знаю ни тех, кто отправлял эти почтовые открытки — *carte postale*, ни тех, кто получал те послания. Старые фотографии, исчезнувшие наименования улиц, ушедшая в небытие форма общения...

1914 год, 14 апреля, С.-Петербург, Малая Охта, дом церкви св. Магдалины, Ея Высокоблагородию Людмиле Сергеевне Щегловой:

«Приближается тот день и час, когда Вы разрешили мне увидеться с Вами, т.е. суббота 19-го. Восемнадцатого проваливаюсь по анатомии, а вечером иду с горя в Народный дом на «Дон-Кихота» с Шаляпиным. Сегодня встретил Борнемана, он спрашивал, давно ли я Вас видел. Я ответил, что 23 марта, т.е. на опере. Надеюсь, Вы меня не подведете. Пока желаю Вам самого наилучшего и жду ответа с обусловлением часа и места. До скорого свидания. Ваш В.»

На лицевой стороне рисунок из цикла «Времена года» — прислонившаяся к березке деревенская девушка, весенние проталины, вербочки, в небе возвращающиеся с юга птицы. Апрель четырнадцатого, последняя весна перед Первой мировой войной. В дворцовых особняках уже разыгрывают «Русскую карту», государи обмениваются посланиями, через два месяца прогремит роковой

выстрел в Сараево и Европа оцетинится штыками. Но пока еще жизнь миллионов людей идет своим чередом.

Ея Высокоблагородию Людмиле Сергеевне Щегловой: «Поздравляю милую именинницу с днем Ангела. Дай Вам Бог быть всегда любимой...»

Во всех сословиях в России, кроме дня рождения, отмечали тогда день Ангела — святого, в честь которого наречен человек при крещении. И веровали, что поставлен к каждому Господом Ангел-хранитель: «Ибо Ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих».

Еще открытка туда же, на Малую Охту. Несколько что-то значивших лишь для двоих укоризненных слов: «Милая! Не нужно быть мещаночкой. Зачем?» На лицевой стороне Ангел, но Ангел зла — картина Зичи: «Печальный Демон, дух изгнания».

1914 год, 27 июля. Из Нарвы. Ея Высокоблагородию Олимпиаде Петровне Молчановой: «Дорогая мама! Поздравляем Вас с днем Ангела. Желаем всего наилучшего, главное — здоровья... Пишу, а руки трясутся. Боимся войны и что возьмут Колю или Анатолия. Все плачут...»

На открытке вид Нарвы, мост через реку — арочные пролеты, чугунные перила с гербами города, в котором когда-то я буду учиться. Но это будет потом — нарвская гимназия, любимая гимназистами и гимназистками беседка на обрыве Темного сада, последняя довоенная весна военного сорок первого... А на почтовом штемпеле июль четырнадцатого, через четыре дня Россия объявит войну Германии, наденут шинели сотни тысяч чьих-то сыновей, мужей, отцов. А пока к поздравлению короткая приписка: «Боимся войны...»

1916 год, 14 августа. Петроград, Малоохтинский пр., д. 53, кв. 11. Ея Высокоблагородию Нине Сергеевне Щегловой: «Привет шлю с дороги, еду на позиции. Нехорошо Вам, Нина, не держать своего слова. Всего наилучшего!» Дальше что-то зачеркнуто. Подпись разобрать нельзя.

Два года уже длится война, на Запад идут воинские составы с живыми и невредимыми, обратно везут изувеченных. Россия в

военном, Россия в скорби. Миллионы убитых, раненых, пленных... Но ни одна война, в которой участвовала Россия, не была затем столь опозорена и предана забвению нашими историками, как та, Первая мировая. словно не было ее, той «германской», а была лишь прелюдия к революции и гражданской войне. Тысячи памятников погибшим на Первой мировой стоят в странах Европы, и лишь у нас в России нет ни одного памятника, ни одного обелиска павшим в тех сражениях русским воинам. Только сейчас, более восьмидесяти лет спустя, мы узнаем всю правду о тогдашних победах и поражениях русской армии, о ее героях и жертвах, о ее трагедии в той последней для царской России войне.

И год второй к концу склоняется,

Но также реют знамена...

И также буйно издевается

Над нашей мудростью война.

Так писал в 1916 году расстрелянный через пять лет офицер и поэт Николай Гумилев.

1916 год. 8 октября. Петроград, Малоохтинский пр., 53, кв. 11. Ея Высокоблагородию Нине Сергеевне Щегловой: «...Всё еще нахожусь в лазарете. Моего соседа, милого поручика артиллерии, о котором я Вам писал, на днях выписали, а на его месте по соседству со мной неразговорчивый ротмистр, родом откуда-то с Урала. Помимо него, в палате все ходячие, и ежедневно мы можем бывать в устланном опавшими листьями госпитальном саду. Но зарядили дожди, становится слякотно... Передвигаюсь уже без костылей, скоро смогу вернуться в свой полк. Быть может, по пути удастся побывать в Питере. Часто мечтаю увидеть Вас хоть во сне, но снится фронт, а не довоенное. Будьте счастливы и храни вас Бог. Преданный Вам Владимир».

На открытке в верхнем левом углу прямоугольничек с обрамленным орнаментом красным крестом: «В пользу общины Св. Евгении». На лицевой стороне — украинская ночь, парубок с дивчиной, белая мазанка в лунном свете...

Последняя открытка из того последнего перед революцией года. Петроград, Малая Охта... Людмиле Сергеевне Щегловой: «Дорогая Милочка! Не забывай своего друга детства, преданного тебе всей душой. Сестру спроси, она многое тебе расскажет и подтвердит всё сказанное мной. Привет всем. Надеюсь на Мать Божию. Твой Коля. 19 октября 1916 года».

Какая участь постигла тех молодых людей, писавших сестрам Щегловым? Сложили головы в Галиции, на Карпатах, на волынских полях? Или с них, уцелевших в тех боях, сорвали потом погоны революционные солдаты, и погибли они на гражданской, воюя за белых либо за красных? Или, прошедших через две войны, их расстреляли в тридцатых за то, что когда-то были они «их высокоблагородие»? Не знаю. Передо мной только почтовые открытки, написанные женщинам, которых, вероятно, любили и судьбы которых мне также неизвестны. И еще строки уже не с открытки, а из письма, отправленного из Ленинграда 3 февраля 1929 года. Писала это письмо моя бабушка, вырастившая семерых детей. Революция и война увели их далеко от родительского крова, трое оказались за границей.

«...Я стала совсем старая и непригодная к жизни. Ничего не поделать, отжила свое. Теперь при нынешней жизни и нужны мои силы, а их совсем нет. Сама замечаю, как слабею с каждым днем. Ты на это не обращай внимания, всему бывает конец, и жизнь человеческая не вечна... Чиню кое-какое старье и всякий раз мысленно благодарю тебя за присланные иголки с большими ушками. Только одно утешение для меня теперь — ваши фотографии, которые расставлены и развешаны везде. Смотрю на них, вспоминаю всё пережитое, как сон все прошло... Иду спать с мыслью обо всех вас, мои родные и дорогие. Хотелось бы всех вас, мои деточки, увидеть во сне, наяву уже никогда не увижу. Не сердись, если редко пишу, право, нет времени, и жизнь наша плохая, не стоит ничего о ней говорить. Одна радость — ваши письма...»

Умерла бабушка в 1932-м. Дети ее покоятся на Украине, в Ленинграде, в Эстонии, во Франции, на Северном Урале...

Среди сохранившихся старых фотографий и писем есть открытка, полученная мной уже в далеком сегодня сорок пятом из Эстонии.

Прислала мне ее в Сибирь моя тетья — Любовь Александровна Курчинская. В ту пору не было у меня уже родителей, жил я на таежном Васюгане, работал в колхозе... На открытке вид довоенной Нарвы. Старинный мост с литыми чугунными перилами, круглые башни Ивангородской крепости, маковки церковных куполов, уходящая за поворот порожистая Нарова. Всё то же, что на открытке 1914 года, всё памятное, до боли знакомое. Только здесь в сорок пятом на обороте написано: «Теперь этот город — кладбище домов. Уцелело их только сорок семь, остальное всё разрушено...»

Между двумя этими открытками чуть более сорока лет. В них уложились две самые кровопролитные в истории человечества мировые войны, гражданская война, две революции. Ушедшая в историю эпоха, исчезнувшие государства, стертые с лица земли города, ушедшие в небытие люди.

Старые открытки, старые письма... Читаю их и словно доносится ко мне эхо давно умолкших голосов... Смотрю на фотографии мальчишек в гимназических фуражках, гимназисток с перекинутыми на фартуки пышными косами, смотрю на снимки щеголеватых офицеров и храбрых рядовых, вижу на фотографиях женщин, одетых так, как одевались перед Первой мировой войной, вижу счастливые семьи, когда-то сфотографировавшиеся на ступеньках дачных веранд, и возникает во мне ощущение, будто я знал всех этих людей, вдыхал запахи давно исчезнувших мезонинов, дач, отцветших цветов, давным-давно исчезнувших духов... Всё тоньше, прозрачней отделяющая меня от того прошлого стеклянная стена, четче, явственней черты лиц. Светлые женские блузки, белые косоворотки, погоны на парадных мундирах, высокие дамские прически, прямые прически мужчин. Вижу закатное августовское небо, слышу позвякивание чайных ложечек, слышу шорох листьев на тенистой аллее...

Но туманится стекло, теряются в дымке прекрасные лица, стихают звуки прошлого. И грустно, грустно. Может, это потаенная боль моих родителей, может, это их память продолжает жить во мне?

Если б я мог, то сочинил бы музыку, в которой попытался передать свои ощущения того времени. Звучали бы в ней отзвуки штраусовских вальсов, военных маршей, шуршанье граммофонной

пластинки, был бы шелест длинных платьев, шорох чьих-то шагов, вечерний колокольный звон над притихшими полями... И исподволь, нарастая, звучало бы тревожное — раскаты грома надвигающейся грозы, которая всё сметет, испепелит, заставит навеки смолкнуть. И хлынет дождь, который смешает пепел с землей, смоем последние следы той минувшей жизни. И, тоскуя о прошлом, пронзительно зарыдает на пустыре одинокая скрипка.

1999 г.

СВОИ, ЧУЖИЕ

В ЭСТОНИИ, как и повсюду за рубежом, русских эмигрантов, ныне так называемой первой волны, объединяла общность культуры, веры и тоска по покинутой ими России. Но в числе хороших знакомых были у моих родителей и эстонцы, с которыми отца связывала совместная работа. На сбереженном мной любительском снимке начала тридцатых годов — трое русских и четыре эстонца, сфотографированные кем-то на заводском дворе после ночной смены. Хмурое утро, рабочая одежда, истоптанный у кирпичной стены снег... Рядом с устало глядящим в объектив отцом — немолодой эстонец. Тогда он мне казался старым, но, вероятно, ему не было пятидесяти, а старили его рыжеватые усы. За давностью лет забыл, как его звали, но помню, как однажды мы были у него дома. Быть может, запомнил, потому что родители мои не часто ходили к кому-нибудь в гости.

В отличие от большинства рабочих, обитавших в заводских бараках, жил он в построенном им самим за поселком доме, имел небольшой участок земли и несколько ульев. Жена его была русская — пригожая, с мягкими чертами лица и неторопливыми движениями женщина, выглядевшая моложе мужа. Когда мы были у них, на ней была широкая кофта и достававшая почти до земли темная юбка, а голова по-крестьянски повязана платочком, из-под которого впереди виднелся разделявший гладко причесанные волосы ровный пробор. Когда-то она была послушницей в Пюхтицком монастыре, и, хотя в монашки не постриглась, что-то монашеское в ней оставалось.

Привечали хозяева нас в саду, где под искрученным вязом стоял приземистый стол, на который хозяйка постелила скатерть, вынесла самовар, вазочку с текучим медом и яблочный пирог. Здесь, вдали от поселка, не было запаха оседавшего копотью сланцевого дыма, а пахло цветами и медом. В стороне возле ульев беспрерывно сновали

пчелы, и хозяйка, ласково погладив меня по голове, сказала, что пчелы не ужалят, только не надо отмахиваться, если какая-нибудь подлетит близко.

Хозяин в надетой поверх косоворотки черной жилетке, поглаживая усы, что-то степенно рассказывал моим родителям. Руки его были большие, загрубелые, и всё здесь, как сам он, было основательно и прочно — дом под четырехскатной крышей, массивная столешница, широкие скамейки, похожие на теремки улыи... Когда напились чаю, хозяин вынес из дома скрипку и, прижав ее к плечу, заиграл что-то грустное. Было удивительно, что его толстые пальцы так нежно и легко держат смычок, заставляющий пронзительно печально звучать струны. Вдруг оборвав мелодию, он заиграл веселый эстонский танец, жена его чуть улыбнулась, а я, глядя на нее, думал, что останься она в монастыре, ей надо было бы жить в келье, соблюдать посты, постоянно молиться, а здесь у нее другая жизнь, ей хорошо. Но почему-то, когда она обращала на меня свой взгляд, глаза ее становились грустными. Может быть, потому, что у них с мужем не было детей.

Вспоминаю еще одну милую чету, с которой родители познакомились, живя в Тарту, — сутулого, в залосненном сапожном фартуке и скрепленных на затылке тесемочкой очках Адольфа и его жену — маленькую, с пучком начинающих седесть на макушке волос приветливую Лизу. Эстонцы, они свободно говорили по-русски и, даже разговаривая при нас между собой, не переходили на эстонский, вероятно, чтобы мама не подумала, что у них от нее какие-то секреты.

Когда я с мамой приходил в полуподвал, где они жили, Адольф обычно сидел на табуретке возле окна и низенького столика, на котором аккуратно были разложены шилья, обрезки кожи, чеботарные ножички, а с краю стояла жестяная баночка с деревянными гвоздиками, которые он брал щепотью сразу по два или три, зажимал зубами, а затем, вынимая по одному изо рта, ловко вгонял в проколотые шилом в подметке сапога или ботинка дырочки. На стене рядом с прилепленной к обоям рождественской открыткой висела связка дратвы, а на полу около табуретки лежали похожие на стопы ног сапожные колодки и груда требовавшей

починки обуви. Мы тоже приносили сюда чинить мои и папины ботинки и мамины туфли. Передвинув на лоб очки, отчего мне казалось, что они не помогают, а мешают Адольфу видеть, он долго разглядывал принесенное, затем обстоятельно рассказывал беспомощно глядевшей на него маме, что еще можно предпринять, чтобы какое-то время проходить в этой обуви, и, отложив в сторону обутки, которые перед этим ремонтировал, принимался за наши, прошивал задники, подбивал отставшую подметку... Лиза ставила на примус чайник, который, закипая, начинал весело шуметь в унисон с примусом, славно пахло раскроенной кожей и сапожным варом, было тепло и уютно. За окном по тротуару шли люди, я видел только их обутые в ботинки, туфли и штиблеты ноги, на которых, когда бывало холодно и сыро, темнели ботики и мокро блестели калоши... И этот вид из окна полуподвала был тоже частью жизни Адольфа и Лизы.

Когда вода в чайнике закипала, Лиза, надев на руку рукавичку, чтобы не обжечь ладонь, уносила его в отгороженную ситцевой занавеской половину комнаты и приглашала нас к столу пить чай с сушками или баранками. Сняв фартук, Адольф мыл в тазике руки и шел с нами чаевничать. Почти все пространство за занавеской занимали стол, громоздкий платяной шкаф и две кровати, под одну из которых была засунута раскладушка Альфреда — сына Адольфа и Лизы. Казавшийся мне тогда почти взрослым веснушчатый с белесыми ресницами Альфред был на семь лет старше меня, учился в школе во вторую смену и обычно его не бывало дома. А когда мы его заставляли, всегда делал уроки, отрывая его от которых, Лиза заставляла чем-нибудь меня занять, и он, снисходительно улыбнувшись, давал мне посмотреть свой альбом с марками.

Плату с нас за починку обуви Адольф брал, иначе мама не стала бы ему ее носить, она всегда боялась быть униженной. Конечно, эти люди знали, что нам живется трудно, но не думаю, что привечали нас из-за нашей бедности, просто было у них к нам сердечное отношение, которое мама ценила, понимая, что они тоже сами отнюдь не богаты. И сегодня вспоминаю какую-то особенно трогательную интонацию в мамином голосе, когда она произносила: «Адольф и Лиза». Неотделимые одно от другого имена, как Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна...

Однажды, когда мы после долгих скитаний уже обосновались в Кивиыли, и была у нас маленькая квартира в заводском доме, пришел к нам эстонский солдат. Лихо поднеся пальцы к зеленой фуражке, козырнул открывшей ему дверь маме, которая не сразу узнала Альфреда. Призванный на военную службу, он служил неподалеку в Нарве и, получив на воскресный день увольнительную, вздумал нас навестить. Знал, что мы живем в Кивиыли, приехал на поезде, а в поселке найти нас было нетрудно, жили мы неподалеку от станции. Когда он пришел, мы садились обедать. Моей сестренке Светлане шел четвертый годик, она сидела с нами за столом с перебинтованным пальчиком, накануне сунула его в мясорубку, когда я проворачивал отварное мясо для пирожков, и до сих пор помню, как брызнула у нее тогда из пальчика кровь, как я испугался... Альфред не знал, что у нас в семье появилась девочка, сказал маме, что Светлана похожа на нее, а про меня, что я вырос. Говорил он с акцентом, растягивая слова и, вроде, стеснялся. За обедом я сказал ему, что помню, как он давал мне смотреть альбом с марками, Альфред улыбнулся и на мгновение стал похож на того веснушчатого подростка с белесыми ресницами, каким я его знал. Почему-то я думал, что ему нравится быть солдатом, но, когда папа спросил — как ему послужится, он ответил, что ждет не дождется, когда можно будет снять военную форму и, вернувшись домой, пойти учиться на лесничего, которым он хотел стать. Наверное, мечтал жить не в городе, а там, где за окном пахнет сырым мхом, можжевельником и соснами, вершины которых шумят на ветру, как морской прибой. Впрочем, что лес шумит, словно прибой, пришло мне в голову много позже, когда в сибирской тайге я иногда вспоминал солнечный пляж Балтийского моря и неумолчный шум накатывавшихся на песок волн...

Не знаю, что стало с Альфредом, очевидно, потом он был на войне, а люди в его возрасте погибли на ней первыми. Никто не хотел умирать, но был эстонский корпус в советской армии, были эстонские воинские части в армии немецкой, были уже после войны «лесные братья»... На одних могилах пирамидки, на других — кресты, на третьих — нет ничего. Погибали эстонские солдаты на своей земле, но большинство — на чужой. Эстония — маленькая

страна, последняя война прокатилась по ней как волна — в сорок первом на восток, в сорок четвертом обратно на запад.

А может, Альфред уцелел, стал лесничим, жил в лесной сторожке и слушал шум леса, так похожий на гул прибоя Балтийского моря...

Но когда он пришел к нам в военной форме, был на исходе июль тысяча девятьсот тридцать девятого, не было войны, и еще жила надежда, что она не начнется.

В том году я окончил начальную школу и надо было уезжать из дома, чтобы продолжить образование. Мог я поступить в любую из двух существовавших в Эстонии русских гимназий — Нарвскую или Таллиннскую. Но там не обучали никаким профессиям, а мои родители хотели, чтобы я получил специальность, которая впоследствии дала бы мне возможность работать на заводе или фабрике. Но, поскольку специалистов для работы в промышленности готовили только в эстонских учебных заведениях, родители, скрепя сердце, решили, что я должен поступить в эстонское реальное училище в Тарту. Хотя впоследствии выяснилось, что моих знаний эстонского языка все же недостаточно, чтобы успешно заниматься в учебном заведении, где преподавание ведется на эстонском, вступительные экзамены я сдал и был принят в Tartu esimene reaalkool^[1].

В Тарту жила папина сестра, моя тетя Люба, приютившая у себя моих родителей в самую трудную для них пору, но после смерти дяди Миши часть профессорской квартиры у нее отобрали, получала она небольшую пенсию, почти половину которой приходилось тратить на то, чтобы моя кузина Тата могла учиться в университете, и, хотя тетя говорила приехавшей со мной в Тарту на время сдачи экзаменов маме, что я могу жить у нее, мама, не хотевшая, чтобы я был тете Любе в тягость, определила меня в пансион к пожилой немке фрейлейн фон Рамм.

Тарту... Почему-то этот город мне чаще вспоминается осенним. Слышу стучащий по подоконнику дождь, вижу мокрые черепичные крыши, вижу за словно заплаканным от сбегających по стеклу дождевых капель окном опустевший сад возле пансиона, в котором жил... Вспоминаю холодную осень тридцать девятого, долгие вечера,

потемневший от времени морской пейзаж на стене, старую деву, строгую и одновременно добрую фрейлейн Рамм.

Несколько человек снимали у нее комнаты постоянно, учащиеся приезжали на сезон, кое-кто приходил лишь столоваться. В качестве приживалки в пансионе жила ее сестра, такая же низенькая пожилая немка, а в коморке на втором этаже уютился их почти глухой брат. Унылая баптистка горничная утверждала, что герр Рамм немного не в себе и временами у него бывает запой, но я ни разу не видел его пьяным. Правда, иногда он не появлялся к столу, и тогда фрейлейн Рамм за обедом громко объясняла, что «Mein Bruder ist etwas krank»^[2], но на следующий день он приходил, молчком ел, поблагодарив сестру, сутулясь, поднимался к себе обратно, и, казалось, ему неловко, что он у нее живет и питается. Впрочем, ел хлеб не задаром — колол дрова, носил воду из колодца, выпиливал лобзиком замысловатые рамочки. На его обрамленном бородкой круглом лице постоянно блуждала виноватая и одновременно чуть ироничная улыбка — словно ему известно что-то такое, чего не следует знать другим. Иногда он колол дрова соседям, несколько раз брал в помощники меня и делился заработком — отдавал десять или двадцать центов.

Вспоминая пансион, я снова ощущаю запах кухни, чуланчиков, туалета с засиженной мухами лампочкой, вижу блеклые обои, полосы холста с изречениями из библии, коробочки и шкатулки на комодe в комнате фрейлейн, куда каждый месяц тридцатого числа приходил отдавать причитающуюся с меня плату; вижу сухие кактусы на подоконниках, альбомы с гравюрами о франко-прусской войне, громоздкий буфет в столовой, откуда, когда настает моя очередь накрывать на стол, достаю тарелки, стаканы с подстаканниками, подставки под ножи и вилки.

Во всем раз и навсегда заведенный порядок — у каждого за столом определенное хозяйкой место, свой столовый прибор, своя вложенная в кольцо салфетка. К завтраку каждому полагается по кусочку черного, полубелого и кисло-сладкого хлеба, ломтики сыра и кружочки дешевой колбасы тоже нарезаны по количеству питающихся, из сахарницы разрешается брать по две ложечки сахара. Масло в масленке чуть прогорклое — чтобы стол обходился

дешевле, фрейлейн покупает продукты не первой свежести. По утрам постояльцы, которым надо идти в гимназию или университет, завтракают первыми, кому спешить некуда — могут приходиться к столу позже. Обедаем уже все вместе — в два часа по удару гонга обитатели пансиона сходятся в столовую, фрейлейн, сложив пухлые ладошки, произносит предобеденную молитву и начинает разливать по тарелкам суп, затем горничная с постным лицом приносит мясное. По средам и пятницам вместо супа перловая каша с пережаренными шкварками, на второе — отварная треска. В воскресенье полагается десерт — кусочек пудинга, компот или кисель. Вечером обычно вареные бобы, хлеб с маслом и чай. Ужинаем в восемь, опоздавший, если это кто-нибудь из молодых, получает от хозяйки выговор, а в случае повторения может быть вообще не допущен к столу. Впрочем, в таких случаях удастся поесть на кухне, добродушная кухарка-эстонка задерживается там допоздна.

Я живу в одной комнате с Хейнсом, поступившим в первый класс здешней немецкой гимназии. Поскольку знаю лишь с десяток немецких слов, а Хейнс не умеет по-русски, разговариваем по-эстонски. Общаемся мало, по вечерам он пикирует на губной гармошке или пропадает на собраниях «гитлерюгенда». Иногда к нему приходят его сверстники из немецкой гимназии, с ними он охотно болтает и, прощаясь, все вскидывают вытянутые вперед руки: «Хайль Гитлер!». Комната наша проходная, двери отгорожены двумя шкафами, за которыми проходят к себе старшие сестры Хейнса — хорошенькая смуглянка Рита и сухопарая блондинка Гизела. Слева снимает комнату курчавый со сросшимися на переносье черными бровями и удивительно белой, прямо-таки какой-то матовой кожей, студент-медик итальянец Тредичи. Еще в пансионе обитают три старые прибалтийские немки, к двум часам они выползают из своих комнат пообедать с такими же, живущими где-то, но столующимися здесь, фрау фон такой-то, герром фон таким-то, тоже увядающими, одинокими, старающимися сохранить старческую пристойность — больше уже нечего сохранять. Все они доживают свой век, как доживают здесь стенные часы, долго хрипящие перед тем, как отбивать время, картины так полинявшие, что на них не отличить небо от моря, как широкие, словно кринолины, старые абажуры, так же, как доживает свой век весь этот

дом с дребезжащим колокольчиком у входа, с отполированными бесчисленными прикосновениями рук перилами лестницы, запущенным садом за покосившейся верандой.

Ходит столоваться к фрейлейн Рамм и относительно молодая рыжая англичанка мисс Вебб. Она ярко красит губы, носит платье с глубоким вырезом, но видно, что жизнь изрядно помяла ее, и она несчастлива. С собой она приводит сына, ненормального мальчика лет семи, в бархатной курточке и коротеньких гольфах. Иногда во время обеда мальчик начинает строить рожи, и непонятно, кривляется он, или его худенькое лицо сводит нервный тик. Мисс Вебб краснеет, обедающие не глядят на них, а мальчик, подергавшись, нехотя начинает елозить по тарелке ложкой. За столом все степенны, едят неторопливо, кто-нибудь один говорит, остальные, не перебивая, слушают; фрейлейн Рамм иногда коротко резюмирует сказанное другими, но больше и дольше всех ораторствует старичок с золотой, увенчанной маленьким черепом булавкой в галстук. Разговаривают по-немецки, главным образом о политике.

Первого сентября германские войска вторглись в Польшу, и вечером в пансионе возбужденно обсуждали это событие. Я знал немногим более десятка немецких слов, но понимал, что фрейлейн Рамм не одобряет случившееся, а старичок с булавкой был явно доволен — *alles gut* — всё хорошо. Через два дня мне исполнилось тринадцать лет, по случаю чего фрейлейн Рамм произнесла за завтраком длинную тираду по-немецки, из которой я понял, что должен себя хорошо вести и хорошо учиться. Было грустно — впервые в мой день рождения рядом не было родителей.

В еще не обмятом форменном костюме и окантованной оранжевой тесьмой фуражке, которую мама мне купила после вступительных экзаменов, я шел в училище, пиная носком ботинка валявшиеся на ослизлом тротуаре каштаны, когда увидел столпившихся у витрины книжной лавки людей. Заинтересованный тем, что там происходит, подошел ближе — за стеклом витрины, загораживая ряды книг, был выставлен экстренный выпуск газеты. «*Uus maailma sõda?*» — прочел я набранный через всю первую страницу заголовок — «Новая мировая война?» Ниже пестрели экстренные сообщения: «Выступление Чемберлена», «Англия

предъявила ультиматум Германии», «Мобилизация во Франции»... Начатая Германией война с Польшей становилась мировой. Почему-то подумал — может быть, теперь увижу войну не только в кино... Пожилой толстяк рядом со мной что-то объяснял сгорбленной старушке с корзинкой, в которой одиноко лежала французская булочка. Близоруко щурясь, читал газету долговязый студент, какая-то женщина плакала.

С тех пор, как я появился на свет, было уже две войны — в Абиссинии, затем в Испании. Из газеты «Русское слово», которую мы получали, я вырезал плохо отпечатанные снимки: босоногих абиссинцев с длинноствольными ружьями, испанских солдат в пилотках со свисающими кисточками, смуглых марокканцев, ассоциировавшихся у меня с сарацинами, о которых я читал в рыцарских романах. Я собирал вырезанные из газеты снимки аэропланов, сбрасывавших на города похожие на хвостатые сигары бомбы, снимки неуклюжих танков и оцетинившихся стволами орудий броненосцев... Было интересно. Как все мальчишки, я любил играть в войну. И, когда приехал учиться в Тарту, привез вместе с аккуратно сложенным мамой в чемодан бельем и книжками полтора десятка оловянных солдатиков. Мне нравились книги про войну, нравились военные фильмы в кинематографе... Но надо пережить войну, чтобы понять, что это такое. Пережить даже в тылу, где погибают не от пуль и снарядов, но все равно от войны.

В своей, тогда еще короткой жизни, я видел только одного мертвого — умершего от скарлатины Ваню Ершова, который учился вместе со мной во втором классе. Когда с ним прощались, я встал подальше от гроба, старался не смотреть на Ванино лицо, и, когда подымал глаза, видел только его лоб и восковой нос...

Было лето, светло и жарко, много чего-то белого и пряно пахнущих желтых цветов. Этот душный аромат меня потом долго преследовал. Смерть и война в моем сознании существовали порознь. *Maailma sõda* — мировая война... Когда я прочел эти слова в экстренном выпуске газеты, мое сердце забилося учащенно. Но на душе не стало тревожно. Было интересно.

Минет меньше двух лет, и на рассвете июньского утра германские войска вторгнутся в СССР. В истории и судьбе России это будет

начало Великой Отечественной войны. Оно запомнится мне стуком колес гулаговского вагона, в котором нашу семью вместе с тысячами таких же разлученных и обреченных семей уже неделю будут везти на восток, где они вскоре станут умирать от голода, лишений, непосильной работы... И в памяти моей навсегда соединятся война и ссылка, ссылка и война.

Но тогда, в сентябре тридцать девятого, все это еще предстояло, и в пансионе обсуждали стремительно развивающиеся события в Польше. Англия и Франция объявили войну Германии, но это была еще странная война, однако к мисс Вебб стали относиться уже иначе. Помню — прежде за столом она неизменно участвовала в разговоре, теперь с ней не говорят, она молча ест, но однажды, вспыхнув, что-то возразила вещавшему старичку, тот резко повысил голос, она не выдержала и заплакала. Лишь в черных глазах Тредичи я увидел сочувствие к ней. Назавтра два места за столом пустовало, но затем рыжая мисс Вебб появилась опять.

В тот день после обеда ее больной сын заглянул в нашу комнату, Хейнс стал по-немецки орать, чтобы тот убирался вон, но мальчишка, тупо улыбаясь, стоял, Хейнс толкнул его в грудь, а потом ударил по худенькой спине. Я вступился за обиженного мальчика. С тех пор как началась война, мы с Хейнсом относимся друг к другу враждебно; он выдрал из атласа карту Польши, прикрепил кнопками над своей кроватью и химическим карандашом рисует свастики на занятых немцами польских городах, а мне обидно, что поляки не могут противостоять кичливым фашистам, их крикливому Гитлеру, про которого отец говорит, что это клоун, но очень страшный, и, если его не остановят, он непременно нападет на Россию.

Здесь немцы собираются у детекторного приемника слушать орущего фюрера, и порой кажется, что благообразные старички и старушки вот-вот вскочат и вслед за молодыми начнут выкрикивать «Хайль!». С каждым разом Гитлер орет истошнее, на карте Польши всё больше паучков, в газетах — фотографии немецких солдат, танцующих с польками в варшавских кафе. Хейнс держится так, как будто он выиграл войну. «See on algus, — говорит он мне по-эстонски, — sama tuleb Venemaaga». «Ega Venemaa ole Poola», — возражаю я. «Miks sa ei ela oma Venemaal?» — ехидно спрашивает он.

«Pole sinu asi, kasvan suureks lahenegu sinna». «Vaata siis seal kohtumegi»^[3]. — «Встретимся», — обещаю ему я уже по-русски.

На следующий день наша с Хейнсом очередь накрывать на стол, нам помогает Рита, его сестра. Я ставлю на скатерть горку тарелок, вдруг он вероломно накидывается сзади и, больно стиснув мою шею, пытается свалить меня на пол. Не оплошав, я перекидываю его через себя, голенастые ноги ударяются о стол, тарелки гремят.

— Bravo! — хлопает в ладоши Рита. Она за брата, но ей импонирует сила.

В школу я хожу напрямик через два обнесенных заборами опустелых сада, минуя зоологический музей и выхожу к дому, где находятся мужская гимназия, прогимназия, техникум и мое реальное училище. У входа возле застекленной двери дежурит швейцар в парадном костюме, но я, как и большинство учеников, предпочитаю черный вход со двора. Внутри школы всё величественно — увешанные картинами просторные коридоры, покрытые дорожкой ступени к двери, статуи античных богов в классе для рисования, актовый зал. После маленькой школы, где я учился, в этом холодном казенном доме чувствую себя подавленным.

В классе я один — русский, во втором ряду сидит молчаливый финн Парданен, остальные сорок семь — эстонцы. Все из разных школ, многие приехали с хуторов, класс неспяянный, но, когда долговязый Ребане на последней парте начинает задорную эстонскую песню, все дружно подхватывают и бьют в такт ладонями по полированным крышкам парт. Обычно это бывает перед уроками английского языка, который преподает наш классный наставник, сухонький, похожий на пастора старичок с покрытой седым пушком головой. Когда он сердится, то начинает кричать фальцетом, и его носик почему-то при этом краснеет. Его любят, но часто выводят из себя, и на уроках английского так шумно, что посмотреть, на месте ли учитель, в класс иногда заходит инспектор. Бритоголовый, плотный, с хриплым голосом, инспектор преподает алгебру, он строг и любит повторять, что прилежные ученики ведут себя хорошо, потому что их силы уходят на ученье, в то время, как у тех, кто учиться не хочет, нерастраченная энергия находит выход в баловстве. Учитель геометрии со странным именем Сулла ходит в

лохматой рыжей шапке, отчего похож на добродушную собаку из комиксов, которые перепечатаывают из американских газет эстонские. Однако, несмотря на добродушную внешность, Сулла тоже придиричив и скуп на оценки. Самый трудный для меня предмет — эстонский язык, его преподает немолодая, очень вежливая учительница, но я никак не могу справиться со сплошными падежами и двойными буквами эстонской грамматики, и учительница с видимым сожалением ставит мне двойки. В очках, всегда растрепанный, длинный и нервный учитель черчения Хаамер терпеть не может русских, а значит, и меня. Но я больше всего не люблю учительницу истории. Большеголовая, перетянутая, как оса, в талии, она уже немолода, но всё еще прейли, то есть барышня, и, наверное, это болезненно сказывается на ее характере — прейли Вильмре зла, раздражительна, и тонкие губы ее кривятся в улыбке, когда она ставит единицы в маленькую синюю книжку, которую носит с собой в кармашке. Иногда с еще более язвительной улыбкой она обводит единицу кружком — это уже приговор на весь семестр.

По училищу ходят слухи, что в Тарту должен приехать президент республики Пятс. Настает день, когда всем велено надеть парадную форму, и нас во главе с оркестром ведут к городской окраине, откуда начинается шоссе на Таллинн. Построенные шпалерой, с цветочками в руках, которые нужно бросить к автомобилю президента, когда тот будет проезжать мимо, мы долго ждем на обочине шоссе. Нашу шеренгу продолжают гимназисты, дальше выстроились студенты в пестрых корпорационных шапочках; накрапывает дождь, мы переминаемся с ноги на ногу, заводим знакомства со стоящими по ту сторону дороги гимназистками, временами где-то вдали начинает играть оркестр, но, выдохнув пару маршей, смолкает. И снова тянется томительное ожидание.

В одиннадцатом часу с той стороны, откуда должен появиться президентский кортеж, показывается одинокая повозка. Очутившись между шпалерами людей, лошадка испуганно косит, прижимает уши, кто-то из гимназистов свистит, и напуганная кобыленка во весь опор мчится в город. Гремят, подпрыгивая по булыжнику, колеса, возчик, стремясь поскорее выбраться из людского коридора, нахлестывает лошаденку, истомившиеся

гимназисты и студенты орут, хохочут, кто-то бросает под колеса гвоздику, за ней к водовозке летят еще цветы...

Заслышав шум и решив, что едет высокий гость, оркестранты начинают наяривать марш, бегут полицейские в серо-голубых мундирах, но лошаденке некуда свернуть и, закусив удила, она галопом мчится на них с ошалевшим на бочке возчиком. Гремит пустая водовозка, наяривает музыка. Потные, злые полицейские заставляют нас подобрать мятые цветы — вдали показывается эскадрон гусар. Расшитые галунами зеленые мундиры, штаны с лампасами, желтые флажки на пиках.... Гусары на буланных конях гарцуют между рядами встречающих, стихает дробный цокот подков, и шоссе ненадолго пустеет. Но вот, наконец, появляется кортеж — несколько черных автомобилей с господами в котелках и шляпах. Шины давят поспешно брошенные на дорогу цветочки. Всё. Под треск барабанов возвращаемся в училище. Однако после уроков ученики опять выстраиваются возле школы — господин Пяте должен посетить наше заведение. На этот раз ждем недолго — к парадному подъезду подкатывает черный «форд», из него с трудом вылезает седенький старичок в пальто, следом выбирается и городской голова. На портретах и почтовых марках у президента словно выточенное из камня монументальное лицо, но у старичка отдаленное сходство с портретом. Невзрачный, маленький, прихрамывая, он делает несколько шагов навстречу подбежавшему директору училища, говорит что-то не то ему, не то всем, учащиеся нестройно кричат: «Elagu!»^[4] Президент кланяется, забирается обратно в машину и уезжает. В воздухе витает сладковатый запах сгоревшего бензина.

Через много лет я понял — президент приезжал в Тарту прощаться. Он уже знал, что будет с Эстонией, с ним, со многими, многими другими.

...Вечером над уличной дверью пансиона раздается долгий дребезжащий звонок.

Обычно гостей встречает горничная, но фрейлейн Рамм уже отпустила ее, и, поскольку наша комната ближе других к входу, дверь иду открывать я.

— Гутен абенд...

Подтянутый молодой немец хочет видеть хозяйку пансиона. Что-то коротко объяснив ей в прихожей, он решительной походкой направляется в столовую, откуда еще не разошлись отужинавшие старушки и старички. Растерянная фрейлейн велит мне передать Хейнсу, чтобы он с сестрами шел в столовую.

— И Тредичи позвать? — спрашиваю я.

Нет, итальянца звать не надо, и я тоже могу заниматься своими делами.

Хейнс приводит сестер, дверь из прихожей в столовую открыта, и мне видно, как пришедший немец, стоя у плетеного кресла, начинает размеренно, даже торжественно что-то читать собравшимся. Лица присутствующих становятся всё более серьезными, некоторые бледнеют, нудный старичок с булавкой достает из кармана портсигар, но тут же трясущейся рукой пытается его сунуть обратно, и портсигар с металлическим стуком падает на пол.

Может, французы прорвали линию Зигфрида?

Молодого человека обступают, взволнованно расспрашивают, фрейлейн Рамм сама хочет посмотреть бумагу... Но гость ничего больше добавить не может, всё сказано ясно — *alles deutlich*. Он откашливается и, забрав оставленную в прихожей фетровую шляпу, поспешно уходит.

Возбужденный Хейнс заявляется в нашу комнату долгое время спустя, поначалу молчит, но новость прямо-таки распирает его, и он сообщает мне, что фюрер зовет прибалтийских немцев в Познань заселять отнятые у поляков земли.

В ближайшие дни за столом разговор только об этом, а затем немцы начинают уезжать. Уезжают молодые, никогда не видевшие Германию, уезжают уже стоящие одной ногой в гробу старички и старушки — все на новые земли, все в Познань. Фюрер зовет, обещает, фюрер объединяет нацию. Лишь фрейлейн Рамм остается в числе немногих, кто не хочет покидать насиженное место. Остается ее сестра, остается их почти глухой брат. Отъезжающие тащат в дом к фрейлейн пожитки, которые некуда сбыть, но жалко бросить. Несут то, что было частью жизни, частью устоявшегося быта, теперь вдруг оказавшегося ненужным. Может, фрейлейн сумеет кому-

нибудь продать и деньги выслать в Познань, хотя фюрер обещает, что всё там будет, деньги не помешают. Веранда завалена посудой, игрушками, книгами... Повсюду запах старья.

Покинули пансион старушки, исчез нудный старичок, приехала со своей мызы мать Хейнса, дородная, еще крепкая на вид немка, забрала детей и тоже уехала с ними в Познань. В последние дни Хейс не занимался, а, сидя на кровати, беспрестанно наигрывал на губной гармошке один и тот же печальный мотив. Сегодня, когда на фотографиях времен войны вижу немецкие военные кладбища — березовые кресты с надетыми стальными касками, почему-то мне вспоминается этот немецкий мальчишка Хейнс.

После его отъезда в комнате со мной поселился белобрысый полуэстонец-полунемец Эдгар. Читая по вечерам, он упирает в переносье линейку, которая не дает склоняться ниже положенного над книгой, отчего на его угреватом лбу постоянно фиолетовое пятнышко. Он на четыре года старше меня, временами сильно заикается, впрочем, нам особенно не о чем разговаривать. В комнате, где жили сестры Хейнса, поселилась гимназисточка-эстонка, остался Тредичи, но мисс Вебб со своим ненормальным сыном больше не столуется. Некоторое время обедать к фрейлейн Рамм еще ходит одна из прежних посетительниц — старушонка с почти облысевшей головой, но и та вскоре уезжает в Познань.

Так же, как и прежде, в два часа звонит медный гонг, так же, склоняя голову, фрейлейн Рамм произносит предобеденную молитву, но жизнь пансиона бесповоротно сломана, обедают почти в полном молчании, фрейлейн как-то сникла, брат ее все чаще не появляется за столом, и улыбка на его лице становится все ироничней. Долгая осень переходит в зиму, по утрам морозный туман смешивается с выползающим из печных труб дымом; морозы доходят до тридцати, холодно в пансионе, холодно в высоких коридорах училища, и перед началом уроков в классе все дружно считают входящих — если набирается меньше половины учеников, занятия не состоятся.

На западе война тоже вроде застыла от холодов, но рядом с Эстонией полыхнула другая — советско-финляндская. В эстонских газетах пишут — Красная Армия не в состоянии прорвать линию

Маннергейма, обмороженных русских больше, чем раненых и убитых. В витринах книжной лавки неподалеку от пансиона — карта театра военных действий на Карельском перешейке, возле нее военное снаряжение для желающих ехать воевать на стороне Финляндии. В актовом зале по понедельникам молятся за победу финского оружия — после проповеди пастор громко читает строки из псалма, ученики поют, снова звучит псалом, и тоскливо поет хор. Учитель Хаамер рассказывает на уроке оскорбительный анекдот про советских солдат. Я краснею и поднимаю руку, сердце мое колотится.

— Ты что-то хочешь сказать? — спрашивает он.

— То, что вы рассказали — неправда.

Хаамер удивленно и в то же время насмешливо смотрит на меня.

— Если не нравится, можешь выйти из класса.

Во время большой перемены мальчишки натравливают на меня Парданена. Сжав кулаки, мы стоим друг против друга, и столпившиеся вокруг ребята вопят:

— Дай ему! Дай!

Они хотят увидеть драку.

Я ничего не имею против Парданена, как, наверное, и он против меня, но его подталкивают все ближе:

— Дай! Дай русскому!

Я чужой, один против всех. Если он замахнется, буду драться. Отчаянно... За русских, за Красную Армию.

Набывчившийся Парданен не хочет начинать. Разжав кулаки, мы расходимся. Но мальчишки продолжают натравливать:

— Дай же ему! Почему ты не дал русскому?

Через два года, за тысячи километров от Эстонии, худой, обовшивевший, я буду идти по заснеженной улице райцентра, а следом, крича обидное и злое, неотступно меня будет преследовать ватага русских мальчишек. Втягивая познобленные пальцы в обрямканную рукава мамино пальто, я остановлюсь, повернувшись лицом к ним, и они начнут натравливать на меня старшего — тщедушного парнишку в долгополой стеженной фуфайке,

у которого немцы убили под Москвой отца. Бессильный, я попытаюсь пойти своей дорогой, но, обступив меня, они еще пуще будут его подзадоривать:

— Врежь ему, Венка! Врежь, давай!

Я чужой... Как объяснить им, что я такой же, как они, хоть и рос не в России? Я — русский, меня учили любить Россию. За что же они?

Но это все потом. А сейчас рядом другие мальчишки:

— Дай ему! Дай русскому!

Свои, чужие — как смешались в моей судьбе эти понятия! В Эстонии мы, русские, были чужими, а когда нас привезли на Васюган, местные жители меня и моих сверстников, русских мальчишек, называли эстонцами. Лишь два десятилетия прошло после трагичного исхода наших родителей из России, а мы уже были чужими. Мы, наши матери и погибавшие в уральских концлагерях вместе с отцами эстонских ребятишек наши отцы... И уже мои сверстники, эстонцы, с которыми меня объединила общая судьба, стали мне близкими. Мы были из одного детства, помнили одни и те же города и поселки, росли вместе на одной земле, под одним и тем же балтийским небом, мы помнили эту землю, это небо и накапывавшиеся на побережье гряды волн Балтийского моря, по песчаным отмелям которого забредали далеко, далеко от берега и возвращались обратно на теплый песок к манящим нас прибрежным соснам... Моя Родина — Россия, живу в ней более полувека и, вернись я сейчас в Эстонию, чувствовал бы там себя чужим. Но самая счастливая пора моей жизни осталась там, и память об Эстонии в моем сердце.

Снова вспоминается Тарту, вспоминается осень тридцать девятого... По воскресеньям я хожу к тете Любе, она угощает меня чем-нибудь вкусным и спрашивает, как я учусь. Она уже не носит траур, но грустна, постарела, и я замечаю, что рассеянно слушая меня, часто думает о чем-то своем. О дяде Мише, который завещал похоронить себя ближе к России и покоится на Ивангородском кладбище, а может, думает о сыновьях, которые где-то в России... А меня угнетают школа и нудный пансион, угнетает фрейлейн Рамм, которая упорно обращается ко мне только по-немецки. Мне трудно

учиться, трудно пересказывать прочитанное в эстонских учебниках и писать эстонские диктанты. Как-то в отправленной домой почтовой открытке я сделал две орфографические ошибки, и мама, решив, что я начал забывать родной русский, прислала мне отчаянное письмо — как мог я написать: «не плачь» без мягкого знака и вместо «пожалуйста» — «пожалуйста». Синие чернила на строчках расплылись, наверное, мама плакала.

В этом же письме она попросила, чтобы я навестил Адольфа и Лизу, и в ближайшее воскресенье я отправился по адресу, который, когда уезжал в Тарту, мама записала в мой блокнотик. Помню, как, отворачиваясь от холодного ноябрьского ветра, торопливо шел мимо двухэтажных домов, лавок и булочных, свернул за угол аптеки, в окне которой две наполненные светло-фиолетовым раствором бутылки отражали скупой свет пасмурного дня, и пошел вниз по спускавшейся к реке такой же улочке, застроенной похожими одна на другую лавками, булочными, двухэтажными домами, над черепичными кровлями которых выбивался из печных труб уносимый ветром рваный дым. По этим улицам мимо этих домов я ходил с родителями, когда мы жили здесь в Тарту, с тех пор минуло всего семь лет, но казалось, что это было так давно...

Жили Адольф и Лиза там же, где прежде, по ту сторону реки, далеко за мостом, только из полуподвала перебрались на первый этаж, и черный жестяной сапог был прибит теперь над другим входом. Меня сразу узнали, чем я был несколько разочарован — считал, что повзрослел и изменился. Я начал разговаривать с Лизой по-эстонски, но она отвечала по-русски; хотя я объяснил, что учусь в эстонском училище, вероятно, сочла, что мне легче изъясняться на родном языке. Адольф попросил, чтобы я показал ему свои ботинки, долго их разглядывал, прибил на стершиеся каблуки подковки и резонно заметил, что обувь следует беречь. Потом втроем пили чай, все было так же, как когда я приходил с мамой, только из окна теперь были видны не ноги прохожих, а вся улица и красовавшаяся напротив вывеска над дверью в парикмахерскую — ножницы и силуэты голов — женской и мужской. Альфред еще служил в армии, и Адольф, неторопливо отпивая из стакана горячий чай, рассудительно говорил, что поскольку его тезка заключил со Сталиным договор, Германия не начнет войну с Россией, а значит, не

тронут Эстонию, и Альфреду не придется воевать. Лиза согласно кивала: да, да, не надо, чтобы немцы и русские затеяли между собой войну, достаточно той, которая была. А Альфреду нужно учиться... Он, Дима, писал нам, что был у вас, что у тебя есть сестренка. Слава Богу, что у вас теперь всё хорошо. Передай от нас поклон родителям, когда будешь им писать.

Прощаясь, она сунула мне кулек с теплыми пирожками. Ощущая сквозь бумагу их тепло, я возвращался по тем же улицам, по которым ходил прежде, когда жил в этом городе, и опять казалось, что было это так давно... Время в детстве ощущаешь совсем по-иному, нежели в старости, когда стремительно пролетают дни, месяцы, годы... А тогда, в пансионе, каждое утро на календаре над кроватью я старательно зачеркивал вчерашнее число, томительно ожидая каникул, и каждый день каждый вечер тянулись долго, долго...

Прошло больше шестидесяти лет, и сегодня кажется, что всё это было вчера: Тарту, пансион, реальное училище... Опять перед глазами тартуские дома, старые каштаны вдоль улиц, шпильки кирх с петушками под пасмурным небом, глянцево-черные памятники, возле которых ютятся ленивые голуби... Вновь ощущаю запахи тартуских булочных, аптек, сапожной мастерской, слышу цоканье копыт извозчичьих лошадей и стук колес пролеток, вижу триумфальные арки над пролетами моста через медленную реку, на противоположном берегу которой магазин похоронных принадлежностей соседствует с кинематографом и букинистической лавкой, где однажды за сорок центов я купил подержанную с вырванными страницами книгу: роман Гюго «Девяносто третий год». Упомянул этот роман, и всплыла в памяти зимняя дорога, по которой мы шли с мамой. В другое время, совсем, совсем в другой жизни.

Память не последовательна, вдруг какое-то услышанное имя, название напомнит о чем-то бывшем с тобой, и увидишь это бывшее явственно, явственно. Шла к концу первая зима нашей ссылки. Страшная, безысходная зима. Свои платья, туфли, столовые и чайные ложки — всё немногое, что мы привезли с собой из Эстонии, мама уже сменяла на картошку и хлеб. Оставались еще брошка и наши нательные крестики — мамин, мой и Светланы. В тот вечер мы с

мамой возвращались из райцентра — Нового Васюгана в поселок, где тогда жили. До райцентра считалось десять километров, да еще сколько пришлось ходить из дома в дом, чтобы последнее, что у нас еще было, выменять на ведро картошки и полмешка мерзлых чебаков... Мы устали, обессилели, и обратный путь казался еще трудней, еще длинней. Все чаще останавливались, садились передохнуть на поклажу санок и опять брели туда, где в пустой избе у застывшего окна нас покорно ждала моя шестилетняя сестренка. Тогда по той, казавшейся бесконечной дороге, я пересказывал маме «Девяносто третий год». Через много, много лет я еще раз купил этот роман, но не мог перечитать его заново — всплывала в памяти далекая холодная зима и все случившееся потом. Не знаю, почему я стал маме пересказывать прочитанное, может, казалось, так легче идти, а может, мама попросила меня вспомнить что-нибудь из прочитанного. Симурден и Говен, маркиз де Лантенак, ценой своей жизни спасший в горящем замке детей... Вандея с ее борьбой и страстями, жестокостью и благородством — как непостижимо далеко это было от нас! Не знаю, вникала ли мама в то, что я говорил, но помню, сказала, что у меня хорошая память. На ней была папина зимняя финская шапка и старое коричневое пальто, которое после маминой смерти еще четыре года меня укрывало и согревало.

В загустевшем небе мерцали первые звездочки, взошла луна. До поселка оставалось километра два, когда впереди показалась несущаяся на нас запряженная лошадь. Потряхивались дуга и прихваченные гужами концы оглоблей, конь, фыркая, шел наметом и, наверное, стоптал бы нас, если бы мы резко не сдернули с дороги салазки и провалились по пояс в глубокий снег. Обдав запахом конского пота, сани пронесли мимо, а развалившийся в кошевке ездок даже не взглянул в нашу сторону.

Насыпавшийся в ботинки снег жег холодом щиколотки ооченевших ног. Луна отбрасывала на зимник тени заснеженных деревьев и, выбравшись на дорогу, мы снова побрели по этим мертвенным теням.

— Смотри, мама, кто-то потерял кнут! — воскликнул я.

Словно застывшая вдоль полозного следа змея, лежал ременной арапник. Что-то диковинное и дикое было в слабо пахнувшей конем

и дегтем плети.

— Брось, — сказала мама. — Это, наверное, потерял тот человек, который только что проехал.

— Всё равно кто-нибудь подберет... Посмотри — у этого кнута даже ременные кисти.

— Для чего он тебе? — устало спросила мама.

Я не ответил. Вспомнил веревочный кнутик, которым гонял дома вырезанный папой из чурбачка волчок-кубарик. И раскрашенный черешок для кнута тоже сделал мне папа...

Тускло блестел в призрачном лунном свете свежий санный след. Мы тянули салазки, а в свободной руке я держал кнут, с которым не хотел расставаться.

Снова послышался скрип полозьев и приглушенный снегом топот копыт. Теперь он быстро приближался сзади — чуть не затоптавший нас недавно вороной конь догонял нас. И опять, уступая дорогу, мы сдернули на обочину салазки и провалились в снег.

Матюгнувшись, ездок осадил лошадь, выбрался из кошевы и, волоча полы тулупа, подошел к нам. Я узнал начальника милиции Рыкова. Осенью он приезжал к нам в поселок и, собрав в колхозной конторе ссыльных нового контингента, объявил, что все мы сосланы сюда на двадцать лет. После этого велел взрослым расписаться, а когда одна эстонка отказалась, сказал ей, что все равно она тут сдохнет... Теперь, нависнув над нами, он тяжело глядел на меня и маму. Обрамленное косматым воротом, белело скуластое словно кованое лицо, пахло винным перегаром и овчиной. Конь нетерпеливо поматывал крупной головой и, позвякивая наборной сбруей, жевал удила.

— Давай сюда бич, — выдавил из себя, наконец, Рыков.

— Возьмите. — Я протянул ему арапник. — Пожалуйста... Если это ваш. Он валялся на дороге.

Вырвав кнут так, что с моей руки слетела рукавичка, Рыков, коротко размахнувшись, стегнул меня.

— Как вы смеете! — закричала мама.

Подобрав полу тулупа, начальник милиции плюхнулся в кошеву, конь дернул с места, в полусотне метров от нас свернул в целик, развернувшись обратно, проскочил дорогу, какое-то время тянул накренившуюся кошеву вдоль нее, покуда не выскочил на свой след и, разбрасывая ошметки снега, промчался махом мимо, кося на нас круглым глазом.

— Очень больно? — спросила мама со слезами в голосе. — Говорила тебе — не тронь этот кнут...

Мне было не больно, бич опоясал меня по пальтишку. Было обидно и непонятно — за что? Мы выбрались из снега и, впрягшись в салазки, опять потянулись по зимнику. Нас осталось трое в этом жестоком мире — мы с мамой и ждавшая нас Светлана. Папы уже не было в живых, но мы еще не знали об этом, и мама молилась за него и за нас... Бедная мама, бедная моя сестренка, и они не дожили до следующей зимы.

Господи! Почему и за что им суждено было умереть?

1974 г. — 1999 г.

-
1. ↑ Тартуское первое реальное училище.
 2. ↑ Мой брат болен.
 3. ↑ — Это начало, то же самое будет с Россией.
— Россия — не Польша.
— Что же ты не живешь в своей России?
— Не твое дело, вырасту — уеду туда.
— Вот тогда там и встретимся.
 4. ↑ Да здравствует!

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Тридцатые годы ушедшего в историю бурного двадцатого века — часть моей жизни, в которой были родители и детство, часть жизни, где были школы, в которых я учился, прибалтийские города с мощеными булыжниками узкими улочками, печерские деревни с яблонями и соломенными крышами, рабочие поселки с закопченными сланцевым дымом бараками и высокими терриконами кокса... Хранимые моей памятью места, куда я приезжал с родителями и откуда мы уезжали. Чтобы где-то обосноваться, а затем опять уехать. Потом был рубеж тридцатых и сороковых — тревожное время предчувствия родителями неотвратимого...

Участь нашей семьи и тысяч таких же, как она, была решена, когда решилась судьба трех маленьких прибалтийских государств и судьба тех, кто жил на этой земле. В сентябре 1939-го правительства отданных Германией Советскому Союзу Эстонии, Латвии и Литвы, еще судорожно пытаясь сохранить независимость своих стран, по ультимативному требованию мощного восточного соседа предоставили на своей территории военные базы для Красной Армии. Потянулись по морю к островам и балтийским портам караваны военно-транспортных судов, по железной дороге, пересекая границу, пошли воинские составы с красноармейцами, кавалерийскими и обозными лошадьми, платформы с пушками, танкетками, полевыми кухнями, снаряжными ящиками... Мимо открывших зеленую улицу семафоров, мимо полосатых шлагбаумов, мимо городов, станций и полустанков, мимо хуторов, мыз, размежеванных грядами валунов крестьянских полей... Занять территорию, готовить плацдармы, рыть, строить, бетонировать... Спешно готовиться к войне.

Всё очевиднее становилось, что рано или поздно, несмотря на договор о ненападении, Германия и Советский Союз начнут между собой войну, а находящимся на их пути прибалтийским государствам волей неволей предстоит быть с кем-то из них. Большевиков в Прибалтике справедливо опасались, немцев тут издавна не любили. Выбора не оставалось, была надежда — в случае войны Красная Армия не допустит, чтобы немецкие войска вторглись в Прибалтику.

Уносило прибалтийскими ветрами паровозный дым, уносило из распахнутых вагонов, в которых везли красноармейцев, слова русских песен. Для эмигрантов входившая в Прибалтику Красная Армия олицетворяла Родину. Ту прежнюю, милую сердцу, и ту другую, которую покинувшие ее уже не знали. Но чего было ждать от большевиков им, эмигрантам, в тех странах, где они обрели семьи, и где родились и росли их дети?

В 1939-ом первый этап ввода советских войск в прибалтийские республики был завершен. В июне сорокового Советский Союз потребовал отставки правительств Эстонии, Латвии и Литвы и безоговорочного пропуска на их территорию новых воинских подразделений. На размышление отпустили несколько часов. Ультиматумы были приняты, формировать новое правительство Эстонии отправился из Москвы Жданов, в Литве этим занялся Деканозов, в Латвию выехал Вышинский.

И снова с востока по всем дорогам хлынула Красная Армия.

...Шла четвертая неделя летних каникул, последних каникул в моей жизни. Через год начнется Великая Отечественная война, но впереди были еще триста шестьдесят пять мирных дней, и тот день — 22 июня 1940-го был мирным и солнечным. О том, что в Таллинне новая власть, я узнал от своего друга Света Мамонтова, к которому пришел покататься на велосипеде. Своего велосипеда у меня не было, и мы со Светом по очереди катались на стареньком велосипеде, принадлежавшем его отцу.

— Утром Януш Шукельт слышал по радио, что у нас новое правительство, — сказал Свет. Он сидел на ступеньке крылечка и латал велосипедную камеру. Полное имя его было Святослав, мать звала его Светиком, а ребята сокращенно — Светом. Был он на год

младше меня, в мае окончил шестой класс и осенью собирался поступать в Таллиннскую гимназию.

— Пятса свергли, — сказал Свет. — Лайдонера... Всех свергли.

Радио у наших родителей не было, но у Шукельтов, живших по соседству с Мамонтовыми, был радиоприемник.

— Янка говорит — несколько раз передавали. Сестры его тоже слышали.

— И что теперь? — спросил я.

Свет пожал плечами.

Решалась участь страны, в которой мы жили, но мы не думали, что эта участь так неразрывно связана с нашей судьбой. Я не знал, что осенью не вернусь учиться в Тарту, где мне предстояли две переэкзаменовки, и продолжал прилежно ходить на дом к готовившей меня по эстонскому языку proua Oder, которая нудно заставляла меня спрягать эстонские глаголы, склонять имена существительные и писать под диктовку отрывки из рассказов Юхана Лийва. Уходя, я оставлял ей на проверку тетрадь, а когда в следующий раз приходил, написанное мной пестрело исправлениями, сделанными чернилами такого же красного цвета, как наманикюренные ногти на пухлых пальцах proua Oder. Было ей немногим более сорока, преподавала она в начальной школе эстонский язык, муж ее работал на железнодорожной станции, детей у них не было. В июне сорок первого мужа арестовали, а ее отправили в ссылку. Туда же, куда и нас — в Сибирь на таежный Васюган.

Но тогда в сороковом году все мы еще жили в Кивиыли — proua Oder на втором этаже кирпичного дома, в котором внизу помещался вокзал, я с родителями на Цветочной улице, Свет — на Железнодорожной, вдоль которой мимо обнесенного глухим забором сланцеперегонного завода тянулась железная дорога, отчего в округе постоянно пахло паровозным и заводским дымом, и этот непроходящий запах не могли заглушить буйно цветущие в палисаднике густые кусты акации и сирени. Железнодорожная улица была главной и самой длинной в поселке, на нее выходили ворота заводской проходной, тут был переезд через рельсы, на этой

улице стояли православная церковь, а неподалеку Народный дом, куда мы со Светом ходили играть в корону, брать книги из библиотеки, а иногда покупали за десять центов билеты на демонстрировавшиеся там по воскресеньям кинофильмы. Не знал я, что настанет день, когда нас и наших родителей приведут сюда под конвоем, и это серое каменное строение навсегда останется в моей памяти домом, где в последний раз будет вместе наша семья.

Случится это 14-го июня сорок первого года, еще через неделю Германия нападет на Советский Союз. Но пока шла прелюдия к той войне и к тому, что станется за неделю до ее начала.

Свет заклеил камеру и принялся подкачивать насосом заднее колесо, когда с улицы донесся приближающийся шум. Разросшаяся вдоль штaketника сирень мешала видеть, что происходит, и, оставив у крыльца велосипед, мы пошли к калитке. С десятков человек уже миновали четырехквартирный дом, в котором жил Свет, кто-то нес красный флаг, и свисавший с древка кусок алой материи покачивался в такт шагам идущих. Держась на некотором отдалении от шедшей впереди кучки людей, двигалась толпа.

— Как крестный ход, — сказал Свет.

Но на крестный ход было непохоже.

Виляя из стороны в сторону, на велосипедах в хвосте процессии ехало несколько мальчишек. Я окликнул оказавшегося ближе всех Шурку Бутузкина, с которым еще в четвертом классе сидел за одной партией. Шурка тормознул и опустил ногу на размягчившийся асфальт.

— Куда народ идет? — поинтересовался я.

— На... на...

Шурка сильно заикался, особенно когда его, не выучившего дома урок, вызывала к доске учительница. Мне даже казалось, что он это делает нарочно, чтобы учительница, будучи не в силах видеть его мучения, ставила ему четверку и отпускала с миром.

— На... на... за.... завод, — выдохнул Шурка.

— Зачем?

— На... на... митинг. Та... там...

— Пошли, Димка, посмотрим, перебил его Свет, не дожидаясь пока Шурка сможет объяснить толком.

Обиженно вздохнув, Шурка поехал догонять процессию, а мы, перейдя улицу, побежали вдоль железнодорожной насыпи к заводу. Было жарко, пахли креозотом вспотевшие под солнцем шпалы, издали навстречу приближался поезд, и в небе над ним туманилось расплывшееся облачко дыма.

Возглавлявшая процессию кучка людей остановилась возле заводской проходной. Чуть поодаль сгрудилась следовавшая за ними толпа. У ворот маячили двое полицейских. Прежде полиции тут не было.

Пока мы проталкивались к проходной, там появился помощник директора завода. Обычно аккуратно одетый, уверенный в себе, сейчас без пиджака, потный, растерянный, он нервно комкал в ладони носовой платок и убеждал помахивавшего перед ним флагом человека, что на заводе митинговать нельзя. Полицейские молча загораживали ворота, один из них, постарше, хмурился, у другого, молоденького, лицо было бледным и испуганным. Заглушая голоса споривших, мимо прошел длинный товарняк. Пронзительно вскрикнул локомотив, покатались вагоны, тендеры, цистерны, замелькали бегущие по откосу вперемежку со светом тени. Убыстряя бег, прошел последний вагон со стоявшим на открытой площадке солдатом, распахнулся простор за железнодорожным полотном, но словно учащенное биение чьего-то большого сердца, еще доносился удаляющийся перестук колес.

— Kuradi bürokratiid! — ища поддержки у толпы, хрипло крикнул, обернувшись, человек с флагом.

— Kuradi bürokratiid! — повторил он, пройдя на середину улицы.
— Me labiviime miitingut mujal! Aga varsti siin luuakse kord majja!^[1]

В распахнутой до пояса светло-коричневой рубашке он стоял совсем близко от нас со Светом, и вдруг мне показалось, что однажды я уже видел его, видел это рябое лицо...

В тот день я делал на кухонном столе уроки, мама ушла в лавку, я забыл закрыть за ней на крючок дверь, и к нам с улицы неслышно вошел незнакомец. Я испугался того, как он оказался здесь,

испугался его изрытого оспой лица и как странно в упор он посмотрел на меня. Я ждал, что он что-нибудь скажет, но он, не спуская с меня сверлящего взгляда, молча протянул мне мятую бумажку. Карандашом на ней было выведено печатными буквами: «Mina olen eesti tumm...»^[2]. Дальше было еще несколько слов, из которых я разобрал только одно: «raha»^[3]. Я уже умел читать по-эстонски, но не знал, что значит «tumm». Это показавшееся мне таким же страшным, как и сам этот человек, мычащее слово помню по сей день. Я понял, что он просит милостыню, в ранце у меня лежала медная монетка — два цента, я отдал ее немому, он сунул монетку в карман пальто, обвел взглядом нашу маленькую кухню и ушел, оставив на полу грязные следы. После я его ни разу не видел, но почему-то долго боялся, что он опять придет. В неопрятном пальто, в мятой, с обвисшими полями шляпе... Прошло, наверное, пять лет, и сейчас мне показалось, что стоявший совсем близко от нас со Светом человек — тот самый... Но ведь тот был «tumm» — немой, а этот говорил...

Толпа шла по Железнодорожной улице в обратную сторону. И мы со Светом шли туда, куда все. Медленно крутя педалями, рядом ехал на велосипеде Шурка Бутузкин, но я его ни о чем не спрашивал. Прошли мимо церкви и воздвигнутой на отшибе деревянной звонницы, свернули в переулок, миновали редкий ряд одинаковых одноэтажных домов, сарайчиков, лавок и остановились на затоптанном пустыре у недавно построенной заводской поликлиники. Отдав кому-то из сопровождавших красный флаг, рябой взобрался на оставленный строителями дощатый помост и объявил, что митинг начинается. Развернул сложенный листок бумаги и стал громко вслух читать написанное. Временами, наверное, разбирая текст, умолкал, затем резко выкрикивал слова. Рядом со мной молодая эстонка держала завернутого в розовое одеяльце грудного ребеночка, который то и дело принимался плакать. Мать, склонившись к нему, торопливо его успокаивала, кто-то, призывая к тишине, шикал на нее, и я слышал только отдельные фразы, который выкрикивал с помоста рябой:

...Tervitame Eesti rahva Valitsust... Ühinegu uute ajalooliste ülesanneteks... Tervitame Puna Armeet... Nõuame riigikogu laiali

saatmist... Nõuame ekspluataatorliku maavalanise likvideerimist... Nõuame vaenulike elementide kõrvaldamist... Ребенок плакал всё громче.

— Tervitame.. Nõuame... Nõuame...^[4] — выкрикивал рябой.

Прочитав текст, он испытующе посмотрел на стоящих внизу людей, и опять почудилось, что я раньше уже видел этот пугающий тяжелый взгляд.

— Kes on vastu? Tõstke käed — kes on vastu!^[5]

Поднятых рук не было.

Vaenulike elementid — враждебные элементы... Настанет время, и тысячи мужчин, женщин, детей будут внесены в списки этих, подлежащих устранению враждебных элементов. В тех списках будут наши родители, будем мы со Светом, будет моя пятилетняя сестренка Светлана, там будет стоящая возле нас эстонка и ее грудной ребенок. В душном, пропахшем мочой вагоне нас повезут вместе в Сибирь, и этот ребеночек день и ночь будет плакать на руках у матери. С каждым днем и каждой ночью детский плач с нижних нар будет всё слабей, тише, покуда где-то за Уралом не смолкнет навсегда...

— Miting lõppetus. Resolutsija võtata. Jaadate minna.^[6]

Рябой слез с помоста, и мне не стало его видно.

Пошли, Дима, — Свет легонько толкнул меня локтем.— Пойдем домой, покатаемся на велосипеде.

— Дождь, наверное, будет, — сказал я.

Надо было идти к ргоиа Oder писать упражнение по грамматике. С востока на небо напоззала иссиня-темная туча, и, словно спасаясь от нее, низко над землей метались ласточки. Где-то далеко глухо, невнятно проворчал гром. Надвигалась гроза.

... Более сорока лет спустя однажды, будучи в Москве, я зашел победать в столовую Союза писателей РСФСР на Комсомольском проспекте и оказался за одним столом с бывшим моряком, тогдашним заместителем председателя приемной комиссии Союза Писателей РСФСР. Почему-то в писательском союзе на различных

штатных и нештатных должностях было много вышедших на пенсию моряков...

Разговорившись с ним, я обмолвился, что когда-то жил в Эстонии.

— А я служил там, — сказал он, оживившись. — До войны начинал. В сороковом году, когда там советскую власть устанавливали. Корабль наш на Таллиннском рейде стоял, наблюдали в бинокль, что на берегу происходит.

— Что именно? — поинтересовался я.

— Как события развиваются... Видим — народ с красными флагами, с лозунгами — значит, всё нормально.

— А если? — спросил я, помолчав.

— Если... — мой собеседник усмехнулся. — Если... Зачем бы мы тогда там были?

У каждого свое видение прошлого, каждый помнит его по-своему. В зависимости от обстоятельств собственной жизни, от того, как воспитывали, чему учили... Кто-то смотрел с линкора на берег в бинокль, кто-то шел с красным флагом, кто-то тревожно ждал — что будет...

1996 г.

-
1. ↑ Чертовы бюрократы! Мы проведем митинг в другом месте! Но скоро тут наведут порядок!
 2. ↑ Я — эстонский немой.
 3. ↑ Деньги.
 4. ↑ Приветствуем народное правительство Эстонии... Сплотимся вокруг новых исторических задач... Приветствуем Красную армию... Требуем распустить Государственную Думу... Требуем уничтожить эксплуататорское землевладение... Требуем устранить враждебные элементы...
 5. ↑ Кто против? Поднимайте руки — кто против!
 6. ↑ Митинг окончен. Резолюция принята. Можете расходиться.

ОТЦОВСКАЯ ШАПКА

ПОИСКИ отцом работы, о чем я постоянно слышал в детстве, когда стал что-то понимать, скитания по квартирам, в которых мы неподолгу обитали и откуда съезжали к другим хозяевам, весь наш неустроенный эмигрантский быт я тогда воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Бесчисленные переезды слились в моей памяти в громохание тряской подводы с убогим скарбом — клетчатым саквояжем, скрипучей бельевой корзиной, фибровым чемоданом и стянутыми дорожными ремнями полосатыми матрацами... Во всех квартирах был один и тот же смешанный запах прели, нафталина, старой мебели и уборной, которая везде помещалась в тамбуре за дверью. И комнаты, где мы обитались, видятся мне сегодня одинаковыми — непременно изразцовая печь с повторяющимися голубыми рисунками на гладких, местами выщербленных кафельных плитках, эмалированный кувшин и таз для умывания, громоздкий платяной шкаф, продавленные стулья, свисающая с потолка лампочка под засиженным мухами гофрированным абажуром... Все это не наше, все хозяйское. На запятнанных обоях замысловатые цветы, которые, когда у меня жар, кажутся то диковинными птицами, то головами каких-то зверей... Видения меняются, как гонимые ветром облака — причудливые головы становятся рыцарскими шлемами с волнистыми плюмажами, шлемы превращаются в лица — то печальные женские, то страшные стариковские... Все это в моей памяти ассоциируется с Тарту. И клацанье копыт извозчичьих лошадей, и чей-то запущенный сад за высоким забором, и голуби на голове глянцево-черного памятника Барклаю-де-Толли, и мутное тартуское небо...

Там, в Тарту, я долго сильно болел, и доктор сказал, что вероятно я умру. Вопреки его словам я остался жив. Выжил, быть может, благодаря истовым маминым молитвам. А через двенадцать лет

смерть пришла за ней. Она умерла на Васюгане от голода в один день с моей сестренкой Светланой, которой было тогда шесть лет...

Но это случилось уже потом. А тогда, когда мы скитались в конце двадцатых, Светланы еще не было на свете, мама переводила с французского какой-то бульварный роман, который обещали где-то издать, но так и не напечатали, отцу иногда удавалось немного заработать, помогала нам папина сестра, моя тетя Люба, но жить становилось все трудней — начинался охвативший западный мир экономический кризис. После моего выздоровления надолго слег отец, и мы с мамой ходили к нему в больницу, где стоял тяжелый госпитальный запах и было странно светло от белых стен и высоких, как в церкви, окон. И эта больничная палата, куда надо было добираться по широким лестницам и длинным коридорам, клетчатый, словно огромная шахматная доска, пол в приемном покое, кажущийся постоянным погребальный звон колокола лютеранской кирхи — все это тоже Тарту.

Осенью тридцать девятого я снова приехал в этот город, сдал вступительные экзамены в эстонское реальное училище, и меня определили на жительство в пансион, который содержала пожилая немка фрау фон Рамм. Опять рядом было то же, что в раннем детстве, — изразцовая печь, кувшин и таз для умывания, перегораживающий проход в соседнюю комнату громоздкий шкаф, бледные обои с причудливыми цветами и пятнами от сырости, запущенный сад за холодной верандой с разошедшимся полом, слепая кирпичная стена за окном, тягучие удары колокола в вечерних сумерках... Промозглую осень сменила необычно морозная для Прибалтики зима, впервые надолго разлученному с родителями, мне было тоскливо, и время тянулось томительно долго.

Но и это было потом... Двигутся по кругу стрелки часов, отсчитывая уходящее время, что было сегодня, стало вчерашним, вчерашнее — позавчерашним. Уходят дни, годы, десятилетия. Вскоре разожметса заведенная когда-то пружина моих жизненных часов, и замрут на циферблате недвижные стрелки. Пока они движутся, пока стучит сердце, я тороплюсь рассказать, хочу успеть... Рассказываю о чем-то давнем, но вдруг всплывает из глубины памяти что-то связанное с этим же, только случившееся после, и я

нарушаю последовательность изложения. Говорю: «Это было потом». Но и это «потом» тоже давно в прошлом. Было, ушло...

Вскоре после того как отца выписали из больницы, нам наконец-то повезло — его взяли десятником на строительство железной дороги. Теперь телега с нашим скарбом уже не тряслась по булыжной мостовой, а мягко катилась по проселкам от одной деревеньки до другой, куда мы переезжали по мере прокладки железнодорожной ветки от Тарту к Печорам. Потряхивается дуга над гривой крестьянской лошаденки, вдоль песчаной дороги тянутся к небу сосны, по обочинам и на тёмно-зелёной листве брусничника блики солнечного света, пахнет хвойным лесом, текучей янтарной смолой, багульником. На подводе те же стянутые дорожными ремнями матрацы, потертые саквояжи и чемодан, плетеная бельевая корзина.

Через одиннадцать лет эти пожитки мы повезем с собой в закрытом на железный засов гулаговском вагоне в Сибирь. В проковырянную складничком щель между вагонными досками я буду смотреть с нижних нар на убегающие поля, переезды, крытые соломой избы, окрашенные однообразной краской станционные здания, водонапорные башни, церквушки с зияющими пустотой глазницами облупившихся звонниц... Мы будем погружаться в темноту туннелей и снова вырываться в существующий за стенами запертого вагона светлый простор, под нами будут грохотать пролеты мостов через какие-то большие и малые реки, будет пахнуть паровозным дымом, невымытыми телами, мокрыми пеленками, и надсадно будет плакать грудной ребенок на руках молодой эстонки на нарах напротив нас.

Долго-долго будет идти на восток эшелон с женщинами и детьми, а где-то за ним по этим же бесконечным рельсам будет следовать другой такой же железнодорожный состав с их обреченными мужьями, отцами... На каком-то разъезде эшелоны окажутся рядом, и женщины с верхних нар, прильнув к железным прутьям, которыми зарешечены узкие окошечки, станут перекликаться с мужчинами. Будут кого-то искать, о чем-то тревожно спрашивать, что-то просить передать... Но как от внезапной боли вскрикнет паровоз, и, медленно набирая скорость, покатятся сцепленные вагоны вдоль таких же

вагонов на соседнем пути. Поплывет над серой щебенкой насыпи рваный дым, замелькают просветы между колесами и потонут голоса в убыстряющемся жестком перестуке колес. Останется позади предуральская станция с кирпичной водокачкой, черными грачиными гнездами на тополях, и навечно запечатлеются в моей памяти вцепившиеся в решетки вагонных окошек побелевшие пальцы чьих-то рук...

И еще раз уже на забитой десятками скопившихся поездов узловой станции в Свердловске окажутся одновременно эти два эшелона. Но и в тот первый раз, и во второй последний мы с мамой и сестренкой отца не увидим. Только будем знать, что он где-то рядом. Где-то совсем близко от нас. Отделенный от нашего эшелона единственной не занятой железнодорожной колеей, по которой безостановочно идут на запад воинские составы, двое суток будет ждать зеленого света такой же, как наш, эшелон с ссыльными из северной Буковины, и женщины оттуда передадут, что за соседним товарняком стоят вагоны с мужчинами из Эстонии. Кто-то скажет — наверное, нас хотят тут выгрузить, наверное, соединят мужей с женами, отцов с детьми. И возникнет надежда... Но прохаживающиеся вдоль вагонов конвойные молчат. Они даже не сказали, что уже несколько дней идет война. Но мы уже поняли это, и ночью я шепотом скажу маме, что теперь папу возьмут на войну. Красной армии нужны артиллеристы. Мама погладит меня в темноте по голове и ничего не ответит.

А наутро лягнет снаружи железо, и скуластый конвоир, откатив дверь нахолодавшего за ночь вагона, крикнет, чтобы быстро собрали для мужчин их зимнюю одежду. И растерянно засуетятся женщины, собирая мужьям первую и последнюю передачу.

— Давай! Давай! — будет подгонять конвоир.

— Давай! Давай! — послышатся хлесткие окрики возле других вагонов.

Я выдвину из-под нар нашу бельевую корзину, мама торопливо достанет из нее лежащее сверху папино пальто, напишет на клочке бумаги записку и, сунув ее во внутренний карман пальто, подаст его стоящему на замусоренной насыпи конвоиру. Потом, спохватившись, протянет отцовские карманные часы:

— И это тоже, пожалуйста, передайте мужу. Фамилию я написала на бумажке. Пожалуйста...

Обнажив в усмешке тусклые металлические зубы, конвоир запихнет часы в карман галифе.

После полудня, когда сильнее потянет из-под вагонов запахом мочи и нагревшихся шпал, закричит застоявшийся паровоз, поочередно сталкиваясь буферами, качнутся вагоны, и наш состав пойдет дальше на восток. Останутся позади Уральские горы, потянется унылая степь, будут выговаривать одно и то же колеса вагонов, и с их нескончаемым перестуком будет сливаться сиплый детский плач. С каждыми сутками будет он все тише, все обессиленней...

А гулаговский эшелон, в котором везут моего отца и сотни таких же, как он, заключенных, паровоз потянет от Свердловска на север Урала. Но мама все еще будет надеяться, что поезда где-то сойдутся, что впереди станция, на которой мы встретим папу. Хотя уже передали ему зимние вещи, хотя все должно быть понятно...

Через две недели, когда уже далеко-далеко от Урала мы будем в трюме пропахшей смолой баржи на затопившей берега неприветливой Оби, мама, доставая из бельевой корзины платице для Светланы, вдруг обнаружит на дне корзины отцовскую зимнюю шапку. И, заплакав, уткнется лицом в ее застывшую подкладку:

— Господи...

А мы будем плыть и плыть по Оби к еще неведомому нам Васюгану, и горбатый катерок, тяжело тянущий переполненную людьми баржу, будет разносить по холодной неприятной реке тоскливый, словно женское причитание, гул двигателя:

— Господи... Господи... Господи...

А спустя полгода в страшную голодную зиму с сорок первого на сорок второй год эта отцовская шапка будет спасать мамину поседевшую голову от нарымской стужи, когда мама будет брести с салазками по зимней дороге из Волкова в Новый Васюган и обратно в Волково, где комендатура определит нас на спецпереселение. Много раз проделает она этот путь — восемь километров туда, восемь обратно и еще сколько шагов из конца в конец

растянувшегося вдоль заснеженной реки райцентра, чтобы окоченевшей рукой стучаться в чьи-то двери, и, когда ей откроют, стоя у порога, предлагать наши последние вещи в обмен хоть на какие-нибудь продукты — платье за ведро картошки, серебряную ложку за чашку мерзлой капусты... Несколько раз я буду ходить с ней по этой тяжелой дороге, которую она назовет Голгофой, а Светлана в остывающей избе будет ждать у окна, покуда в зимних сумерках не покажутся две бредущие с салазками тени. Но весной, когда начнет преступаться зимник, когда станут долгими дни и заплачут сосульки на скатах избяных крыш, менять уже будет нечего. Смерть станет неотвратимой.

К осени выживу я один. Из вещей останется мамино пальто, отцовский рабочий комбинезон, две зимние шапки — отцовская и моя, два Светланиных платья, ее детские бусы, останется альбом с фотографиями и подаренная мне отцом на день рождения книга Тарле «Наполеон». Светланины платья я променяю на растоптанные солдатские ботинки, а ее детские бусы из коралловых звездочек у меня украдут.

После смерти мамы и сестренки душа моя словно оцепенеет от случившегося. Испуганному, голодному, потерянному в страшном непонятном мире, мне негде будет жить, я буду ночевать то в заброшенном колхозном курятнике, то в чьей-нибудь истопленной с вечера бане, а в конце октября, когда надвинется вторая военная зима, уйду из Волкова в Новый Васюган, наивно надеясь, что смогу, как когда-то прежде, учиться в школе. Будто что-то еще может восстановиться из прежней жизни, будто может вернуться... Но все было порушено, все осталось за страшной роковой чертой.

В Новом Васюгане меня приютит жалостливая бабка Потешиха, но в ее одностопной избе уже трое квартирантов, и бабка уговорит школьную сторожиху Степаниху пустить меня на квартиру. Свою последнюю рубаху я променяю на кусок хлеба, буду ходить в школу в надетом на голое тело отцовском парусиновом комбинезоне, в нем же, укрывшись маминым пальто, буду спать на полу возле остывающей к утру хозяйской печки. Этот комбинезон я стану выжаривать в райкомхозовской бане, где, стесняясь своего исхудалого покрытого коростой тела, буду мыться на скользкой

лавке подальше от пробивающегося сквозь банный пар света электрической лампочки под потолком. Наголо остриженный, буду сидеть в школе за партой один, думать о еде, бояться, что на застлвшийся ворот выползет вошь, и сидящие за мной станут смеяться.

Иногда буду замечать обращенный на меня грустный взгляд преподающей биологию классной наставницы, которая обратится к кому-то из районного начальства, чтобы мне давали иждивенческий паек — четыреста граммов хлеба на день, но ей откажут — я пришел из колхоза, паек мне не положен... Эта учительница жалела таких, как я, сердце у нее было доброе. Забыл, как ее звали...

И еще будет в этой школе милая, чем-то напоминающая моих прежних учителей, эвакуированная из Ленинграда учительница литературы, которая будет пытаться отвлечь обездоленных ребят от всего страшного, что тогда было. После уроков в холодном классе она заставит репетировать чеховскую пьесу, в которой я и ссыльный мальчишка-еврей из Риги должны играть помещиков. Одинокий, завшивленный, я должен делать вид, что расстраиваюсь из-за каких-то Воловых Лужков, спорить, какая собака лучше — Откатай или Угадай... Боже! Какой помещик, какая собака? Степаниха вот-вот откажет мне от квартиры, и снова мне негде будет жить, я который день не ел хлеба... Я буду тупо повторять слова, забывать реплики, а учительница будет сердиться на меня.

Я так и не сыграю в той пьесе, потому что вместе с мальчишкой, который должен был изображать второго помещика, мы попадем в больницу из-за дистрофии. Много лет спустя на одной из встреч в школе я скажу ребятам, что был дистрофиком, и в ответ услышу дружный смех. Этим детям не довелось пережить того страшного, и дай Бог им того не изведать.

А тогда меня и того истощенного еврейского мальчика не стали долго держать в больнице. Таких тогда было много... Через десять дней главврач велел сварить для нас чугунок картошки в мундирах и выписать. Помню, как мы счищали ногтями кожуру с горячих мелких картофелин, как торопливо опорожнили поставленный нам на тумбочку чугунок... Наутро в пропахшей хлоркой кладовке я сдал хмурой санитарке больничное белье и получил у нее свою

выжаренную в вошебойке одежду — комбинезон, шапку, мамино пальто, рваные носки и ботинки. Уже легла зима, улица была заснежена, отчужденно белели крыши домов и все источало холод. Продрогший, я пришел к Степанихе и прислонился к кирпичам истопленной печки...

Наверное, я долго бы не протянул и меня свезли бы на кладбище, где в одной могиле лежали мама и Светлана. Спасла меня учительница литературы. Та, которая сердилась на то, что я забываю слова пьесы. Квартировавшая в избе неподалеку от Степанихи, она увидела в посеченное морозом окно, как я прошел, втягивая в обрямканную рукава озябшие руки, и тут же, наведавшись к моей квартирной хозяйке, невесело поинтересовалась — как я думаю дальше жить.

Я не знал.

На следующий день Ганна Алексеевна пошла к директору рыбозавода и упростила его взять меня учеником счетовода в бухгалтерию, где работала ее дочь. Наверное, сердобольная учительница поручилась за меня, ведь я был «социально опасный» из нового контингента ссыльных, таких тогда в конторы не брали. Но меня приняли, я смог работать в тепле и стал получать паек. Смерть меня миновала.

Васюганский рыбозавод... Как не похож он был на вошедший в мою детскую жизнь сланцеперегонный завод, где работал отец! На том денно и ночью что-то тяжело ворочалось в чреве кирпичных корпусов, по узкоколейке, деловито посвистывая, сновал паровозик с груженными сланцем вагончиками, а к черным терриконам по подвесной дороге медленно плыли вагонетки с еще не остывшим дымящимся коксом. Оседая копотью на поселок, выползал из высокой трубы то черный, то ядовито-желтый дым, и трижды в сутки над домами, бараками и окрестными хуторами плыл протяжный заводской гудок, утробным криком извещая об очередной смене. Иногда я прибежал к проходной встречать отца, он выходил усталый с толпой таких же уставших, одетых в одинаковые блекло-серые комбинезоны рабочих, но, увидев меня, светлел лицом.

На заводе, где за тысячи километров от того, оставшегося в другой жизни, потом довелось работать мне, не было ни дымных

труб, ни вагонеток, ни машин. На обрывающемся в реку крутояре белели свежим брусом спешно построенные в военном сорок втором году засольный и коптильный цеха, бондарка и склады, вдоль которых тянулись тесовые навесы. Пахло рыбой, дымом и осиновой клепкой...

Через много-много лет, уже поседевшим я приехал в Новый Васюган, захотел увидеть то место, но за минувшие годы обрушился подмытый рекой берег, ушла под воду земля, на которой стоял рыбозавод, и вместе с исчезнувшим крутояром словно унес Васюган то время с его печальями, страданиями и надеждами. Уцелела только построенная вдали от берега рыбозаводская контора.

Вечерело, когда я пришел к широкому крыльцу этого придавленного тяжестью минувших лет здания. Пахло близкой рекой, мокрыми после недавнего дождя лопухами и непросохшим песком протянувшейся из конца в конец села пустынной Советской улицы. На восточной окраине села у тесного огородами и бревенчатыми домами последнего островка старого кладбища эта улица переходит в дорогу, свернув от Лиственного озера в темный лес, выходит на поля, минует заросший по краям осокой чвор^[1] и у заброшенного колхозного гумна опять скрывается в тайге, где по обочинам просеки топорчатся сухими сучьями гниющие в отвалах мертвые деревья. Дорога на Волкове... Дорога, которую мама называла Голгофой.

Днем побывал на скорбном месте, где на погосте не осталось ни крестов, ни могильных холмиков, где все сравняла осыпь сухой хвои и почерневших сосновых шишек. Пришел туда к маме и сестренке, которые лежат где-то совсем близко в земле, уже занятой чьим-то огородом с разросшейся картофельной ботвой... Прислонился к сосне и заплакал. И все три дня, которые я провел в Новом Васюгане, рядом со мной неотступно было прошлое. Уходящая за поворот река, ровные песчаные улицы, сосняк на окраинах — все напоминало и оживляло в памяти минувшее.

Одиноко сидя на крыльце рыбозаводской конторы, вспоминал, как работал тут в годы, кажущиеся теперь одной долгой- долгой зимой. Вспомнил испачканные самодельными чернилами столешницы, керосиновые лампы, которые зажигали поздними

зимними вечерами, когда переставала подавать ток райкомхозовская электростанция, и предварительно трижды мигнув, медленно гасли свисавшие с потолка голые лампочки. Вспоминал, кажется, навечно заиндевовшее у подоконника окно холодной бухгалтерии, откуда виднелась сельповская пекарня, из которой мордастый возчик выносил по утрам на телегу в сбитый из досок ящик дразнящие буханки горячего хлеба; мысленно увидел томительно медленно уходившую из-под ската крыши пекарни тень, по которой определял оставшееся до обеда время, возникло в памяти не проходящее ощущение голода, ожидание конца войны, когда будет вольный хлеб и все станет иначе... Вспомнил, как стеснялся своей худобы, одежды, боялся что-то сделать не так. Всплыло в памяти, как вскоре после того, как меня приняли на работу, всех конторских работников созвали на собрание в кабинет к директору. Сиденья мне не досталось, и, прислонившись к дверному косяку, я слушал, как поджарый с тонкими усиками и пронзительными черными глазами директор говорит о дисциплине, социалистическом соревновании, сборе теплых вещей в фонд обороны. С трудом воспринимая его слова, я чувствовал себя неровней всем пришедшим в этот кабинет, казалось — директор часто смотрит в мою сторону, и с плаката из-за его спины тоже кто-то грозно указывал пальцем: «Что ты сделал для фронта?»

Наискосок от меня, сгорбившись на стуле, эвакуированный из Москвы прораб Шумаков набрасывал карандашом на обложке довоенного журнала профиль сидевшей неподалеку директорской секретарши. Заштриховал рисунок, поглядел по сторонам и, остановив взгляд на мне, начал быстро рисовать мой портрет — остриженную голову, оттопыренное ухо, выдающуюся из широкого ворота тощую шею. Выцарапывая из швов кармана хлебные крошки, я ждал, когда он отвернется, и тоскливо думал, что пока не закрылась сельповская столовая, надо успеть туда, выхлебать тарелку жидкого супа, потом бежать по морозу в дальний конец Кооперативной улицы к Степанихе... Рваные носки пристынут к ногам, варежек у меня нет... Собрание кончилось. «Всем ясно? — спросил напоследок директор, нервно одернув свой китель-сталинку. — Завтра каждый должен сдать в фонд обороны что-

нибудь из теплых вещей. Это приказ... Все для фронта, все для победы, товарищи!»

Наутро я принес сдавать отцовскую шапку. Хотел было отдать свою, но отцовская выглядела лучше, да и была мне великовата. Ни я, ни мама не выменяли ее ни на картошку, ни на пайку хлеба, это была память об отце, но кроме зимней шапки мне нечего было отдавать. Думал — если ничего не принесу, они скажут: «Ты сын врага и потому не хочешь помочь фронту». Мне казалось — они не могут поверить, что я тоже за Россию и хочу, чтобы фашистов победили.

Теплые вещи сдавали в бухгалтерии осанистой инструкторше, с утра пришедшей в рыбозаводскую контору из стоявшего на этой же Советской улице большого дома, под четырехскатной крышей которого помещались райком и райисполком. Я знал — там обитает начальство, но для меня тогда наивысшую власть олицетворяло другое здание на берегу Васюгана, где начальники ходили в гимнастерках, галифе и хромовых сапогах, и куда раз в месяц мне надо было подниматься по крутым ступеням высокого крыльца отметить, что я не сбежал и не умер.

Одетая в темно-синий костюм с прямыми от подложенной ваты плечами инструкторша двумя пальцами взяла у меня шапку, брезгливо осмотрела ее и бросила на пол, где лежали принесенные кем-то подшитые валенки, что-то пестрое вязаное и вывернутый наизнанку полушубок. Сидевшая рядом секретарша пометила в тетрадке и сказала, чтобы я шел на строительную площадку, куда директор приказал отправить всех конторских убирать щепу и шкурить бревна. На улице стояла стужа, но велено было идти, и я подался в конец поселка, где плотники рубили предназначавшиеся рыбозаводскому начальству дома. Мне дали грабли, и я принялся сгребать в кучу мерзлые щепки и ошметки коры. Кучи поджигали, но горели они плохо, белесый дым нехотя пробивался снизу и медленно растворялся в холодном тумане. Руки и ноги мерзли, я часто задерживался у нагретенных куч, чтобы согреться, но тепла от них не было.

На следующий день работали уже в конторе. Собранные в фонд обороны вещи куда-то унесли, щелкали костяшки счетов, постукивали перья о дно чернильниц, шелестели бумаги... Когда

сумрачный постоянно озабоченный главный бухгалтер выходил из кабинета, сидевшие за канцелярскими столами женщины исподволь начинали говорить о чем-то своем, но главбух вскоре возвращался на свое отстраненное от остальных место у стены, откуда ему было всех хорошо видно, женщины умолкали, и опять тишину нарушали лишь дробный стук замусоленных костяшек и шуршание бумаг.

Прошло три месяца. Утрами еще морозило, но к полудню с обращенных на юг скатов крыш начинало капать, и возле завалинок протянулись пробитые в снегу капелью рябые дорожки. Тень из-под крыши пекарни, скосившись, уходила за угол дома с каждым днем все раньше, но перерыва на обед ждать было еще томительней.

В феврале я узнал, что умер отец. Сказала мне об этом Вера Борская, девочка, с которой я когда-то учился вместе в Кивийильской школе. Теперь она жила с матерью и братом в Волково, но я встретил ее на улице в райцентре, куда она пришла обменять на продукты свое платье и материнские туфли. Печально посмотрев на меня, она сказала, что одной из сосланных из Кивийи женщин пришло с Урала письмо от мужа, и он сообщил ей о тех, кто умер. Был среди них и мой отец... До этого я еще надеялся. Хотел верить, что он жив... Теперь знал, что из всей нашей семьи остался только я, и ночами, лежа на полу, плакал у выстывавшей к утру печки. Но надо было как-то жить, и я мучительно ждал окончания войны, надеясь, что смогу тогда уехать отсюда. Никто нигде меня не ждал, и еще двенадцать лет мне предстояло отмечаться в комендатуре. Но я надеялся... А война все длилась и длилась.

К весне урезали хлебный паек, сказали — в районе перерасходован лимит, и вместо пятисот граммов на день стали давать четыреста. Двести граммов я брал утром, остальные после работы. Если бы взял все сразу, к концу дня уже ничего бы не оставалось, а так я знал, что вечером продавщица отвесит мне заветный ломтик. На квартиру к Степанихе хлеб я не носил, вообще старался приходить туда попозже. После работы спешил в столовую, где за вырезанный из продуктовой карточки талончик выхлебывал тарелку супа, затем шел в лавку за двухсотграммовой краюшкой и возвращался в контору. Зимой, когда составляли годовой отчет, в бухгалтерии засиживались допоздна, но теперь кончали работать

раньше, лишь главбух еще задерживался, но и он вскоре уходил домой. Оставалась только сторожиха Макаровна, которая, велев вытереть у порога ноги, пускала меня в контору и продолжала прерванное вязание. Я приходил в опустевшую бухгалтерию, брал из конторского шкапа неведомо как попавший туда сборник «Былины и исторические песни Западной Сибири», из которого за неимением чистой бумаги счетоводы вырывали страницы для ведомостей и проводок, садился на свое место к окну и, отщипывая в кармане кусочки от ржаного ломтика, читал и медленно съедал свою краюшку.

С каждым днем страницы в изодранном сборнике убывали, и я вспоминал оставшиеся у нас дома книги, которые щеголеватый в перехлестнутой портупеей новенькой гимнастерке лейтенант-энкавэдэшник брал с книжной полки, и, небрежно перелистав, бросал себе под ноги. Я вспоминал эту грудку книг, оголившиеся полки, за которыми сиротливо белела стена, вспоминал вытащенные из комода ящики с перерытым энкавэдэшником бельем, зияющий пустотой платяной шкаф, возле которого валялось на полу осеннее пальтишко, из которого я вырос, и были раскиданы Светланины кубики.

Тот шкаф был такого же размера, как и в рыбзаводской бухгалтерии, и, когда я здесь подходил к этому, чудилось, что от него изнутри, как и из навсегда оставшегося в другой жизни того, исходит слабый запах нафталина. Цвет у шкафов был тоже почти одинаковый темно-коричневый, и у обоих внизу были выдвижные ящики. Дома мама хранила там обувь, что было здесь, я не знал, при мне никто ящик не выдвигал. Ручку у него кто-то оторвал, на ее месте торчали только шляпки гвоздиков.

С некоторых пор меня что-то влекло к этому ящику, казалось, там должны лежать старые журналы, а может быть, даже книги. Заглянуть туда днем я не осмеливался, но однажды вечером, просунув в зазор под нижней полкой линейку, слегка выдвинул его, а затем уже пальцами вытащил наполовину наружу.

Журналов и книг там не было. В ящичке лежала шапка, которую я принес в фонд обороны! Еще там была смятая красная тряпка и обшитая сукном рукавица. Сердце мое забилося сильно-сильно... Ну

да, это была та самая шапка, которую носил отец, а потом мама. Финская шапка с кожаным верхом и потершимся на отворотах коротким коричневым мехом. Подкладка внутри в одном месте распоролась, и мама зашила шов светлыми нитками. Уже в ссылке... Как плакала она, когда обнаружила, что не передала эту шапку отцу... Господи... Я сберег ее, я принес ее им, а они засунули ее в пыльный ящик. Я гладил шапку, касался ее лицом, и казалось, она тоже гладит меня, как когда-то гладила меня мама. Гладила, утешая. Может быть, унести эту шапку обратно, к Степанихе? Но вдруг кто-то нарочно положил ее сюда, чтобы проверить — не украду ли я ее? За дверью слышались шаги: — шаркая валенками, Макаровна несла по коридору дрова истопить к утру печи. Я торопливо сунул шапку в ящик и задвинул его.

Ночью мне приснились родители и сестренка. Будто они стоят на дорожке заснеженного парка и грустно смотрят на меня. Я знаю этот парк, в детстве я бывал там с мамой. Давно-давно, еще в Тарту. Там руины университетской библиотеки, беседка с круглой крышей и перекинутый через овраг высокий мостик. Теперь я снова в этом парке, вокруг покрытые снегом деревья, протоптанная дорожка, на которой папа, мама, Светлана...

Мне надо что-то вспомнить, что-то рассказать им. Да-да — про папину шапку, которую я нашел... Но я вижу эту шапку на отце. Ту самую зимнюю финскую шапку... Значит, все мне приснилось, все страшное — Васюган, Волково, кладбище... Все это только приснилось...

— Я знал, что вы не умерли! Знал! — кричу я.

Проваливаясь в снегу, бегу к ним, а они все также молча стоят и издали печально глядят на меня.

— Я знал, что вы не умерли! Знал...

Но нет уже ни папы, ни мамы, ни Светланы. Нет парка, где они только что были. Перед глазами волковская дорога, заснеженные выворотни, мертвые деревья по сторонам санной колеи. Я один на этой дороге, но продолжаю кричать и просыпаюсь от своего сдавленного крика.

...Теперь днями, сидя за конторским столом, я часто поглядывал на шкаф, и от мысли, что там в темноте лежит шапка отца, мне вроде становилось легче в моем мучительном одиночестве. Я боялся, что кто-нибудь вздумает туда заглянуть, шапку куда-то денут, и когда никого не было вечерами, выдвигал я ящик и, удостоверившись, что шапка на месте, украдкой гладил ее.

А на дворе солнце уже согнало с улиц снег, и только в затенье под скатами обращенных на северную сторону крыш белели оседавшие у стен черствые сугробы. Воздух был прозрачным и звонким, зимник, по которому доставляли на лошадях в васюганские поселки мешки с почтой, рухнул в начале апреля, набиравшая силу река еще не поломала оторвавшийся от берегов лед, и почта в ожидании навигации копилась за тысячу километров отсюда. И где-то на большой земле копились не дошедшие сюда похоронки.

Теперь вечерами, отужинав и выкупив в лавке свою краюшку, я сразу шел к Степанихе. Квартировавший у нее плотник рубил в уплату за постой сени к ее избе, и надо было помогать ему — пазить теслом заготовленные с зимы бревешки. Веснами обычно во всем теле ощущалась слабость, трудно было ходить, трудно подниматься по утрам, и я быстро уставал. Когда сруб сложили, наступила пора копать Степанихин огород, но земля еще путем не просохла, и к Степанихе после работы можно было не торопиться. Уже несколько вечеров я не был в бухгалтерии, и, когда пришел, Макаровна, неодобрительно глянув на мои ботинки, из чего следовало, что их надо обтереть, молча продолжила свое нескончаемое вязание, а я, пошаркав подошвами о лежавшую возле порога тряпку, прошел в бухгалтерию и выдвинул ящик шкафа.

Шапки там не было.

Многого, гораздо большего лишился я в жизни, но как больно ждалось сердце. Так же больно, как тогда, когда кто-то украл Светланины бусы... Отцовскую шапку я отдал сам, но она вроде вернулась ко мне, была опять рядом. Теперь мир вокруг еще больше опустел... Господи...

Сколько темной васюганской воды утекло с тех пор! За давностью лет, за всем, что было в жизни потом, кажется, забылась та история с

отцовской шапкой. Но вот пришел сюда на конторское крыльцо, и всплыло в памяти давнее. Защемило, сжалось сердце.

На следующий день в маленьком душном здании здешнего аэровокзала, где я ожидал самолет, на котором должен был улететь из Нового Васюгана, меня окликнула грузная пожилая женщина. В телогрейке, по-деревенски повязанная головным платком.

— Не узнаешь меня? Я — Пелагея... Мы с сестрой у Потешихи жили...Помнишь?

Пелагея... Ну, да, конечно же, помню — Пелагея... Когда осенью сорок второго я ушел из Волково в Новый Васюган, меня, убитого горем, не ведавшего, куда приклонить голову, пустила к себе бабка Потешиха. В ее убогой одностопной избенке жили еще трое квартирантов: Физа Типсина и две сестры — Пелагея и Лизавета Конченко. Физа работала в райкоме комсомола и со мной не общалась, а Поля и Лиза были почти такие же нищие, как я. Они сочувствовали мне... Теперь кто-то сказал Пелагее, что я в Новом Васюгане, и она пришла меня повидать.

— Помнишь, как мы квартировали у бабки Потешихи? Какой ты был заморенный, ходил в женском пальто... Что только тогда народ пережил, как перестрадал... Вот пришла поглядеть на тебя, старый ты стал, седой...

Я обрадовался ей, и грустно было от всего, так грустно... Люди смотрели на нас, мы вышли из аэровокзала, сели на лавочку. Из-за далекого сосняка надвигалась грозовая туча, налетел порыв ветра и погнал по взлетной полосе песчаную пыль. А Пелагея рассказывала про себя, как жила, работала, родила дитё, чтобы не быть одинокой.

— Сколько всего переробила, сколь кулей на себе перетаскала, — говорила она, и ее большие, лежавшие на коленях руки были темными и изработанными, так не похожими на руки сегодняшних молодых.

— Слышь, эттось внучка ко мне пришла: «Баба, нам в школе сочинение задали про прошлую жизнь, так ты мне расскажи. Мама меня послала, говорит, когда она маленькой была, ты ей рассказывала». — «Ох, да не умею я, че говорить-то? Шибко тяжело жили». — «Нет, ты как следует расскажи». — «Ладно, — говорю, —

садись, я пряхь буду и вспоминать, а ты слушай». Пряду, рассказываю, как бедовали, как мамонька в тайге заблукалась и померла, как мы с Лизкой мыкались... А сама плачу, плачу... После внучка така радостна приходит — пятерку получила... Слышь — за мою жизнь, значит, пятерку...»

И потом под неумолчный гул покачивающегося самолетика, глядя из иллюминатора на извивающийся внизу Васюган, изрезанную просеками тайгу, на светлые частники там, где когда-то были деревни, я мысленно повторял слова Пелагеи: «Пятерку за мою жизнь, пятерку...» Перебирал в памяти все, что было и ушло с теми, кто тут жил, страдал, чей прах уже смешался с землей по берегам этой вошедшей в мою судьбу темной реки. И опять щемило, щемило сердце.

1997 г.

1. ↑ Чвор — проточное озеро. (сибирск.)

ПО СУТИ ДЕЛА

КОГДА вспоминаю кого-нибудь из тех, кого знал в пору своей юности, приходит на память и то, что окружало нас тогда, что было для меня частью того времени. Вижу сумеречную, тесно заставленную столами рыбозаводскую бухгалтерию, где зимами, когда топили печь, бывало теплее, чем летом, слышу перестук замусоленных конторских счетов, и возникает в памяти тогдашняя безысходность одиночества, долгое-долгое ожидание конца войны.

Главным бухгалтером был Александр Иванович Игнатченко. Припадавший на короткую от рождения ногу, сутулый, хмурый — он уходил с работы последним, и его маленькие глаза с короткими белесыми ресницами всегда были красными от недосыпания и напряженности взгляда. Писали мы на рыхлой серой бумаге военного времени, самодельные из чаги бурые чернила расплывались, перо цепляло мелкие впрессованные щепки, но затем и такой бумаги не стало; утомляя зрение, стали писать и делать кантировки на страницах, вырванных из книг и довоенных журналов. Работали допоздна, зимами, когда составляли годовой отчет, засиживались и после полуночи. Слабый свет от комхозовской электростанции то вспыхивал ярче, то мерк, в двенадцать часов свисавшие с потолка голые лампочки, дважды моргнув, окончательно гасли, и бумаги на столах освещали загодя зажженные керосиновые лампы. Потихоньку, по-одному, бухгалтеры и счетоводы расходились по домам, а Игнатченко оставался в бухгалтерии один с документами, умолкшими конторскими счетами и ночными тенями в потрескивавших от уличной стужи углях.

Однажды он не явился на работу, чего прежде никогда не случалось, а в одиннадцатом часу пришла его жена Наташа:

— Александр Иванович заболел, вот написал что-то, велел отдать...

Маленькая, смуглая, она за глаза величала мужа по имени-отчеству. Может, потому, что была моложе его, а может, не хотела ронять его авторитет в глазах других. Буквы на клочке бумаги напоздали одна на другую, строки шли вкривь и вкось, и разобрать можно было лишь одно слово: «лошади».

Через час Игнатченко пришел сам. В белом овчинном полушубке, подтаскивая ногу, прохромал к своему двухтумбовому столу в углу кабинета, откуда можно было наблюдать за работавшими в бухгалтерии, и, опустившись на стул, обвел всех тяжелым взглядом. Что-то хотел сказать, но рот стягивало в сторону, он невнятно повторил, и мы поняли — он хочет посмотреть кантировки. Счетовод расчетной группы Маруся Малышева боязливо положила рядом с его чернильным прибором из серого мрамора обработанные сегодня документы. Он долго смотрел на них, потом поднял голову и, страдальчески кривя губы, спросил:

— То-топор дог-гнали?

Одни испуганно глядели на него, другие делали вид, что погружены в работу.

— То-топор дог-гнали? — мучаясь, повторил он в гнетущей тишине.

Кто-то прыснул со смеху, но тут же смолк.

— То-то-топор...

— Догнали, — сказал я.

Он успокоился, опустил голову в завязанной под подбородком тесемочками суконной ушанке и замолчал.

Вошла заплаканная Наташа и увела его. Игнатченко пошел, не сопротивляясь. Грузный, обмякший...

Около месяца он пролежал в больнице, затем появился на работе, но никто не осмелился заговорить с ним о том, что тогда было.

А через два года, когда он ехал санным путем в Колпашево с годовым отчетом, с ним приключился второй удар, и, не придя в сознание, он умер.

Разрозненные эпизоды, штрихи тех лет, кусочки мозаики, из которой пытаюсь восстановить картину... Разбито зеркало, перед глазами лишь осколки. Но в каждом отражается все то же, все то же...

На второй день, после того как меня взяли учеником в контору, сухая, с волевым лицом бухгалтерша Марья Николаевна, накануне искося наблюдавшая, как я, прижимая пальцами линейку к серой бумаге, старательно разлиновывал карточки для картотеки, принесла мне из дома початую печатку розового туалетного мыла.

Застыдившись, я сунул в карман этот слабо напахнувший утраченным детством гладкий кусочек, а вечером долго-долго отмывал въевшуюся в руки еще со смолокурни черноту.

В сельповском магазине с пустыми полками купил алюминиевую расческу и заваливавшееся с довоенного времени круглое карманное зеркальце. Увидел в нем запавшие глаза, начавшие отрастать волосы, тонкую шею и с болью вспомнил отцовский взгляд, когда, обернувшись, отец в последний раз посмотрел на меня. Бледный, пытаюсь ободряюще улыбнуться, с такой тоской в глазах... Как я скажу ему, что мама и Светлана умерли? Я боялся думать, что отца тоже нет, что я остался один. Один из всей нашей семьи...

Пишу почти полвека спустя, мучительно пытаюсь передать свое ощущение того времени. Кажется, все было совсем недавно, но как долго, долго длилось... Вспомнилось — школьная уборщица Степаниха, у которой я тогда квартировал, пустила на квартиру двух ссыльных эстонок. Наверное, уже в сорок четвертом, потому что когда я поселился у нее, прируба к избе еще не было. Его срубил живший у Степанихи пожилой плотник, днями он работал на стройке, а вечерами пристраивал к одностопной Степанихиной избе троестенок.

Десятилетний Степанихин сын Колька, я и сама она шкурили и подымали сосновые бревна, конопатили мхом пазы, а когда пристройка была готова, хозяйка сложила печку и, потому как к тому времени плотника забрали в трудармию, пустила в эту пристройку тех эстонок. Раньше я их не знал, хотя высланы мы были вместе и везли нас в Сибирь в одном товарняке. Работали они в райкомхозе. Одна была покрепче духом, вторая слабей, были они, наверное, в

возрасте моей покойной мамы, а может, чуть моложе, все женщины выглядели в те годы старше своих лет.

С работы они приходили усталые, по-русски объяснялись с трудом и со мной говорили по-эстонски. Как-то июльским вечером, возбужденные, перебивая друг дружку, рассказали, что сегодня их назначили вымыть трюм разгруженной накануне баржи, и там они увидели написанные по-эстонски фамилии. И будто были там в трюме выведены мелом имена их мужей... «Не может быть, — возражал я, не веря. — Откуда на пришедшей в Васюган барже взяться этим именам? Эшелон с мужчинами отправили на Урал». Но они радовались и плакали: «Там написал имя мой Лембит!». «Там написал свое имя мой Юло! Может быть, на этой барже их куда-то везли, может, они грузили в нее лес...».

Что моего отца нет в живых, я тогда уже знал. Помню, мартовским вечером возвращался с работы, солнце только что опустилось в сосняк за райцентром, и придавленное холодной синевой алое зарево уходило за край земли. Днями таяло, оголились обращенные на юг скаты тесовых крыш, осели побитые капелью сугробы у завалин, а к вечеру вновь вместе с тенями напознала стынть и хробостела под ботинками зачарымевавшая дорога. Веру Борскую я увидел в переулке. До ссылки мы жили в далеком отсюда Кивиыли, отцы наши работали на одном заводе, а теперь она со старшим братом и матерью обиталась в Волково. Повязанная полушалком, в пальтишке, из которого выросла за два года, с узелком в руке, увидела меня и остановилась. Я обрадовался ей, спросил, зачем пришла? Она сказала, что принесла продать какие-то вещи, а ночует в семье, где ее знают и пускают на ночлег. Отвечала односложно, а когда я уже собрался идти своей дорогой, посмотрела на меня долгим взглядом и тихо сказала, что одной из ссыльных женщин пришло в Волково письмо от мужа...

Мы ничего не знали о своих отцах — где они, что с ними, это было первое письмо «оттуда».

— Их тогда увезли в лагерь. — сказала Вера. — Мой папа жив, а многие умерли... И твой, кажется... умер.

Помню сгущавшуюся синь неба, сиреневые тени, удаляющиеся шаги... Я побежал за ней, догнал, цепляясь за последнюю соломинку:

— Кажется? Или...

Она посмотрела на меня и ничего не ответила.

Багровела кровавая полоса заката, стыл фиолетовый снег, удалялись шаги.

Назавтра я пришел на работу, когда еще никого в бухгалтерии не было. Сидел один и с мучительной тоской думал об отце. Травленный газами на мировой войне, больной — сколько он еще прожил после того, как его разлучили с нами? Как умирал? Лишь много лет спустя я узнаю, что он умер еще в ноябре сорок первого, раньше, чем скончались мама и Светлана. Буду я тогда уже взрослый, и будут у меня уже свои дети.

А в сорок втором, в пустой бухгалтерии я сидел, уронив голову на руки, и виделся мне отец, бледный, со страдальческой улыбкой...

Приходили и усаживались за столы работники бухгалтерии, отодвигали стулья, выдвигали ящики столов...

— Что с тобой? — спросил кто-то.

— Отец умер.

Оттого, что я произнес это вслух, щемящая жалость к нему прорвалась наружу, и я заплакал, уткнувшись лицом в рукав.

— Поплачь. — произнес кто-то. — Поплачь.

Не счесть было смертей в войну, но различны смерти — на фронте или в лагере. Я плакал по умершему в лагере, я был изгоем. Тогда я еще не знал, как много людей погибло в лагерях. Но разве от этого легче?

Сухо, дробно стучали костяшки конторских счетов.

Что можно было сказать мне в утешение? Что?

— Поплачь...

Разные люди работали в бухгалтерии, по-разному существовавшие и переживавшие то время: нервная, часто приходившая на работу заплаканной Аня Луговская, деятельная активистка Зоя Ковакина, чопорная москвичка Нехлюдова, униженная Фрумкина, хорошенькая Лиза Зайдман, общительная, читавшая вслух приходившие ей с фронта письма Виктория, сутулый старик Скубаев,

страдающий водянкой Чарыма... Помню многих других. С некоторыми я проработал до конца войны, кто-то перешел в другие учреждения, кто-то уехал из Нового Васюгана до победного сорок пятого.

Наискосок от моего стола стоял такой же обшарпанный однотумбовый стол Николая Андреевича Сафронова. И поначалу, когда мне было что-нибудь непонятно в работе, я обращался не к хмурому Игнатченко, которого побаивался, а к нему. Лицо у Николая Андреевича было бабье, волосы жиденькие, стригся он высоко под бокс, большие уши топорзились, и в свои сорок с небольшим лет казался он мне пожилым. Но во взгляде его наивных серых глаз было что-то детское, беззащитное. Разговаривать с ним надо было громко — слушал он, склоняя голову набок, пытаюсь угадать по губам говорившего то, что недослышал.

Принятый чуть раньше меня учиться на счетовода Паша Прудников как-то сказал, что Николай Андреевич делает вид, что глухой. Сказал напрасно — Николай Андреевич страдал от своей глухоты. Поговаривали, что когда-то он был женат, но жена от него ушла. Адмоссыльный, в свое время он работал бухгалтером в Сталинске-Кузнецке, а теперь раз в месяц ходил отмечаться в стоявшую на берегу спецкомендатуру. Ходил туда и сосланный на Васюган во время коллективизации Игнатченко. Кто состоит на спецучете, было видно в ведомостях начисления зарплаты — там имелась графа удержания пяти процентов заработка в пользу комендатуры, но за что кого сослали — об этом на работе никогда не говорили.

Носил Николай Андреевич подпоясанную потертым узеньким ремешком толстовку цвета фиолетовых чернил, мятые брюки, которые зимой сменял на стеганые ватные; осеннего пальто у него не было, с наступлением холодов приходил он на работу в изрядно поношенном зимнем и облезлой рыжей шапке с болтающимися ушами, в которой становился похожим на непутевого Льва из фильма Флемминга «Мудрец из страны Оз», виденного мною в сороковом году. Много лет спустя я прочту своей дочке о том Льве, Страшиле и Дровосеке в пересказанной Волковым сказке «Волшебник Изумрудного города», но тогда тот Лев и его друзья из

довоенного кинематографа казались таким же детским цветным сном, как и все, что было до разделившей жизнь надвое роковой черты.

Когда вспоминаю тех, кто работал со мной, подчас возникают перед глазами и их росписи — вероятно, потому что по многу раз в день приходилось видеть их на бухгалтерских кантировках, с которых я делал разноску. У Игнатченко роспись взбегала волнистой линией и завершалась кружочком, от которого спускался резкий прочерк. Ковакина писала свою фамилию ровными круглыми буквами, у Паши Прудникова, ставшего впоследствии главбухом, а затем и директором рыбозавода, каллиграфическая роспись, словно резолюция, косо подымалась вверх. А Николай Андреевич ставил под своими кантировками лишь заглавную «С» с коротким хвостиком. Почерк у него был беспорядочный, буквы писал не слитно, слова не дописывал.

Истинные бухгалтера — педанты. Помню, как у ссутулившегося от многолетнего сидения за конторским столом Скубаева однажды вечером не сходился баланс на один рубль двадцать копеек. Старик сличал итоги в карточках с записями в оборотной ведомости, пересчитывал цифры — все совпадало, а баланса не было. Игнатченко нервничал — составляли отчет. Скубаев задерживал других, но продолжал дотошно искать. На электростанции выключили свет, старик продолжал пересчитывать при керосиновой лампе. Ушел домой Игнатченко, а Скубаев, укрывшись долгополым пальто, остался ночевать в конторе на составленных стульях. Был он тоже из адмоссылных, без семьи, дома его никто не ждал... А наутро раскрыл ведомость и обнаружил ошибку. Стоимость двух оказавшихся на излишках метелок в шестьдесят копеек, записанная красными чернилами, вечером при тусклом свете казалась записанной черным. Чернила были самодельными и цветом мало отличались одно от другого. Шестьдесят копеек нужно было вычитать, а Скубаев прибавлял, и баланс «не шел» на те злополучные рубль двадцать.

Николай Андреевич не был дотошным и частенько делал «спорно»-исправления своих же ошибочных записей, отчего его кантировки пестрели красным. Игнатченко сердился и кричал на

него. Николай Андреевич неубедительно пояснял что-то насчет суммарной разницы, но через какое-то время вновь выводил красные цифры. Игнатченко снова кричал, а Николай Андреевич опять ссылался на суммарную разницу.

Считать и писать приходилось много, охочих поговорить в рабочее время Игнатченко быстро обрывал, однако когда отлучался из кабинета, у женщин то исподволь, а то сразу возникал разговор о повседневных заботах, горестях и надеждах, кто-нибудь вдруг вспоминал довоенное... Но входил Игнатченко, все умолкали, вновь сыпалась торопливая дробь конторских счетов, постукивали о чернильницы перья, звучали редкие, лишь связанные с работой реплики. Николай Андреевич в общем разговоре участвовать не мог, но ему тоже хотелось поговорить. Думаю, что, ощущая свою ущербность, он острее понимал чужое одиночество и потому обращался ко мне. Впрочем, может, потому что я просто ближе других к нему сидел.

Как-то он мне сказал, что у него в Подмоскowie живет сестра, и еще есть брат, который на фронте. Мне ждать писем было не от кого, а он получал и от сестры, и от брата. Жил Николай Андреевич в рыбозаводском домике вместе с матерью, седой малорослой старушкой, изредка приходившей к нему в контору, и весточки те были в основном ей — маме. Несколько раз я замечал, как Николай Андреевич сам пишет на работе письма, и мне казалось, что должны быть они скучные, канцелярские, не такие, какие бы написал я, если бы было кому...

Однажды он рассказал, что, живя в Сталинске-Кузнецке, играл в футбол.

— Хавбеком. Знаешь, Дима, что такое хавбек?

Конечно, я знал, что такое хавбек, бек, голкипер, знал, что такое корнер, аут... Ведь мальчишкой я гонял мяч возле железнодорожной насыпи. Еще там, тогда... У Николая Андреевича тоже когда-то была иная жизнь, от него я впервые услышал, что есть такой город Сталинск-Кузнецк. Оба мы попали сюда из другой жизни, каждый из своей, но и он, и я в прошлой жизни играли в футбол. Я с мальчишками возле пропахшей паровозным дымом и креозотом железнодорожной насыпи, он — в заводской команде. Но я не мог

представить его бегущим в трусах за мячом на футбольном поле. Его, в подпоясанной узеньким пояском толстовке, мятых брюках, помятого жизнью и такого не похожего на хавбека...

Еще меня удивляло, что он ходит на кинофильмы. Мое кино осталось там, в детстве, и потом долго-долго было не до него, первый раз в кино, за стеной которого помещалась школа, где я недолго проучился, пошел я уже в сорок четвертом. А Николай Андреевич смотрел все кинофильмы, не удавалось ему это лишь, когда в бухгалтерии засиживались за полночь с годовым отчетом.

Когда надо было поделиться впечатлениями о кинокартине, то в первую очередь он говорил, хороша или нет была музыка. Может, хотел показать, что ее слышал, но, вероятно, был восприимчив к ней. Он не употреблял в разговоре музыкальных терминов, как это делают меломаны, думаю, что он и не знал всяких таких слов, просто говорил: «Музыка была прекрасная», или: «Вчера мне, Дима, музыка не понравилась».

Когда-то он ходил на оперетты. Может, в Сталинске- Кузнецке, а может, в каком-то другом городе.

— Ты, Дима, слушал «Сильву»? По сути дела лучшая оперетта...

Иногда вспоминал довоенные фильмы:

— Почему-то сейчас нет кинокартин с Ильинским. Помнишь «Праздник святого Йоргена»? Отличная по сути дела комедия. Что ты сказал? Не видел... А «Закройщик из Торжка»?

«Закройщика из Торжка» я тоже не видел. Зато знал, что Николай Андреевич не смотрел «Огни большого города» и «Новые времена» с Чарли Чаплином, он не видел «Белоснежку» Уолта Диснея, не видел ни «Тарзана», ни «Мудреца из страны Оз», в которой непутевый Лев напоминал самого Николая Андреевича... Мы были из разной жизни, только ни его прошлой, ни прошлой моей уже не было.

— Знаешь, Дима, какая звучала вчера музыка? Штраус...

Погружен в темноту зал, и бледный рассеивающий луч рождает на куске полотна чью-то жизнь. То смешную, то трагическую, то всего-навсего детскую сказку. Но почему, когда смотришь эту сказку, у тебя на глазах слезы?

Николай Андреевич нуждался в собеседнике, в участии, но к нему относились иронически. Подтрунивали над «суммарными разницами», над тем, что он часто употреблял в разговоре «по сути дела», злословили, что мать отбирает у него деньги и не разрешает жениться.

То, что он холост, казалось особенно забавным.

— Николай Андреевич, почему вы не женитесь? — громко спрашивала бойкая Виктория.

Николай Андреевич краснел и делал вид, что не слышит.

— Ну, право... Сколько вокруг женщин. Хотите, найдем для вас невесту?

Николай Андреевич еще больше конфузился и как-то по-особому двумя выпрямленными пальцами продолжал усердно перекидывать костяшки стянутых проволокой конторских счетов.

Накануне двадцать седьмой годовщины Октября в рыбо-заводской конторе устроили угощение. Прежде ничего подобного не бывало, а тут то ли директор получил указание, то ли сам решил, что людям надо напомнить о празднике не только на торжественном заседании. Собрали по сколько-то рублей с человека, объявили, что каждый может привести с собой на праздничный вечер еще кого-нибудь одного, если тот внесет деньги. Я позвал Вовку, с которым мы два года назад вместе лежали в больнице. Он так же, как я, был ссыльнопоселенцем, бросил школу, работал, только у него была мать, а у меня никого.

Начальство отмечало праздник в кабинете директора, и в бухгалтерии тоже составили застеленные газетами столы. Странно — я забыл, какая была еда, запомнились лишь жестяные банки, в которые каждому было налито по сто пятьдесят граммов спирта. Раньше я не пробовал ничего спиртного, кроме причастия — разведенного водой церковного вина с золоченой ложечки на следующий день после исповеди. Помню его теплый аромат, пресный вкус просфоры, металлический запах креста, к которому торопливо прикладывался после таинства. Благовоние ладана и истекающих воском свечей, мерцание золота иконостаса, глядящие с плащаницы мученические глаза Христа... Переминающийся с ноги на ногу

уоставший от стояния в церкви мальчик в коротких до колен штанишках, в светлой рубашечке, у которой мама помогала по утрам застегивать верхнюю пуговку на тесном воротнике... Боже! Как давно это, как давно...

Темень за окнами, отражающие электрический свет жестяные банки, неразведенный спирт. Задохнувшись, я торопливо запил его водой, ожидая, что вот-вот должно что-то со мной произойти, но все оставалось таким же, ничего не происходило, кто-то что-то говорил, перекрывая шум застолья, грудной женский голос выкрикнул первые слова песни... И вдруг нахлынула, обволокла теплая волна, шум отдалился, вновь приблизился, распался на отдельные голоса, рядом возникло раскрасневшееся Вовкино лицо, я глянул на него, он — на меня, и мы стали смеяться. Беспричинно, неумно, судорожно. Последний раз до того я смеялся в детстве, и хотя сейчас вокруг было столько печального, что-то неизрасходованное за минувшие два с половиной тяжких года прорвалось наружу. Потом, уже немолодому, во время застолий мне не бывает весело, наоборот грустно, но тогда, первый раз опьянев, я глупо смеялся. Глядел на Вовку, он смотрел на меня, и мы заходились в бессмысленном, облегчающем душу смехе.

Забылись разговоры за столом, не хочу их сейчас выдумывать, помню лишь — опять стали подтрунивать над Николаем Андреевичем. Отяжелевший, он сидел далеко от меня, впервые, как и все остальные за войну, выпив, впрочем, не знаю, пил ли когда-нибудь прежде. Может, и пил. Рядом с ним слезливо пригорюнилась высланная из-под Славгорода и работавшая в ссылке за доброго мужика, широкая в кости немка Катерина. Кто-то из женщин озорно крикнул — а вот, мол, и невеста для Николая Андреевича. Утирая ладонью слезы, Катерина вяло отмахивалась.

Я ушел домой одним из первых — мне стало плохо. Следующий день был выходной, а когда затем пришел на работу, узнал, что в тот вечер опьяневшая Катерина вскоре свалилась. Николай Андреевич заснул за столом, их не стали будить, уложили рядом на полу, постелив его пальто и Катеринин ватник. Долго заставляли сонную Катерину обнять Николая Андреевича... Кабинет заперли на ключ, а ночью сторожиха услышала, как кто-то колотит изнутри в запертую

дверь. Стучал пробудившийся Николай Андреевич, стучал испуганно, требуя, чтобы его выпустили.

Впрочем, все это было потом, а тогда, в сорок третьем, хотя каждый день и приближал конец войны, жизнь не становилась легче, урезали паек, карточки на жиры не отоваривали, вместо крупы стали выдавать на месяц по полтора килограмма прелого гороха...

Третья военная зима на Васюгане выдалась лютой. По утрам в промерзших углах Степанихиной избы выступал иней, намерзло за ночь в притворе, вода в кадке возле двери подергивалась ломающимся под ковшом хрустким ледком. Окна рыбозаводской бухгалтерии надолго покрылись изнутри мутным волнистым льдом, и дни были, словно короткие сумерки между ночами.

— Николай Андреевич! — громко окликал Паша.

— А? — Николай Андреевич оглядывался, ища глазами окликнувшего.

— С репой поехали, — не подымая головы, вполголоса произносил Паша.

— Что? Я не слышу.

— С репой...

Николай Андреевич вопросительно смотрел на нас.

— Мороз сегодня! — кричал Паша.

Николай Андреевич краснел и утыкался в бумаги. Обиженный судьбой, беззащитный, он становился мишенью, когда кому-то нужна была разрядка, когда хотелось отвлечься от контрольных журналов, не сходящихся оборотов...

— Николай Андреевич!

— А?

— Два.

Казалось смешно.

И я... Я тоже насмеялся над бедным Николаем Андреевичем. Соблюдая присущий документам, с которыми приходилось иметь дело, чиновничье-канцелярский стиль, написал акт на списание

Николая Андреевича. Составил дефектную ведомость, начислил амортизацию, процент износа всех его частей. Я изощрялся как мог. Вероятно, мне, ощущавшему свою униженность, хотелось утвердиться в глазах других, показать и свое остроумие. Понимаю это только теперь.

Акт ходил по рукам, читая его, потешались.

А жизнь становилась тяжелей. Второй раз урезали хлебный паек — теперь я получал на день четыреста граммов. Николай Андреевич — четыреста себе и двести граммов на старушку-мать. Шестьсот граммов хлеба на двоих.

В выходные дни отдыхали редко, летом по воскресеньям корчевали за Васюганом горелые пни и копали канал из озера, заготавливали дрова, метали сено для рыбозаводских лошадей... Когда с низовья приходили паузки с солью, конторских посылали на выгрузку — до глубокой ночи поднимались мы по осклизлым сходням, спускались обратно в трюм, снова с наполненными мокрой солью ведрами гуськом тянулись на яр. Соленый пот разъедал глаза, подкашивались ноги, и наутро задубевшая одежда бывала покрыта белым соленым налетом.

А в начале той студеной зимы объявили, что весь ноябрь надо после работы по два часа трудиться на строительстве. Теперь с семи до девяти часов вечера на берегу при свете костров маячили фигуры приходивших шкурить бревна, подтаскивать к срубам слегги, сгребать щепу. Поначалу собирались все, но усиливались морозы, и людей на стройке появлялось все меньше...

В тот вечер, когда я, выхлебав в столовой тарелку супа с ошметками грибов и соленой колбы, пришел на стройку, работало всего двое — Николай Андреевич и болезненный плановик Алексеев. Подобрал возле сруба брошенную кем-то из работавших днем плотников скребалку, я взялся сдирать с бревна приставшую сосновую кору, рядом, согнувшись, шурил сутунок Николай Андреевич, и тесемки на опущенных ушах его облезлой шапки покачивались в лад его движениям. Утоптаный снег, стылые лесины, колючие звезды на безжалостном небе — все источало жестокий холод. Пытаясь согреться, я работал изо всех сил, но мороз пробирал насквозь. Скрипя по снегу, подошел с граблями Алексеев:

— Гляди-ка, нашего полку прибыло. — Приложил к лицу, согревая нос, рукавицу и задумчиво проговорил: — Кто бы сказал, сколько сейчас градусов... Тридцать будет?

Сказать никто не мог — термометра не было во всем райцентре. Сводок погоды по радио тоже не передавали, передавали сводки с фронта.

Я ожесточенно скреб бревно и чувствовал, как коченеют ноги в ботинках.

— Пошли к костру, — сказал Алексеев и закашлялся. — Николай Андреевич! Идите погрейтесь!

Николай Андреевич отпихнул ногой шелушащуюся ленту сосновой коры и, оставив скребалку, пошел вслед за нами. Сырые щепки в костре таяли, и белый дым нехотя подымался, бессильный перед зимней ночью.

— От брата письмо было? — крикнул Алексеев.

— А?

— Брат что пишет?

— В госпитале... Ногу ампутировали. Мать плачет.

Я уже знал, что у брата Николая Андреевича отняли ногу, мне он сказал об этом еще позавчера.

— Чего плакать... — Алексеев пошевелил граблями щепки, откуда-то снизу прорвался и угас язычок пламени. Дым за клубился пуще. — Теперь живой будет — с одной ногой можно... Дядька мой без обеих рук, вот это уже...

Постукивая ботинком о ботинок, я протянул к костру руки. Заслезились глаза от дыма, закружилась голова, и я бы упал, если бы меня не подхватил Николай Андреевич.

— Дима, ты что?

Вместе с Алексеевым они подвели меня к бревну, и я опустился на неошкуренный комель.

Голова перестала кружиться, и снова я ощутил пробирающий насквозь мороз. Николай Андреевич, втянув в рукава руки, растерянно стоял возле меня.

Айда по домам, — сказал Алексеев. — Чего мы трое наработаем?

— Пойдем, — неуверенно согласился Николай Андреевич.

— Пошли, Дима, а то по сути дела тебе худо. У меня отогреешься, тогда к себе. Я близко живу, а тебе далеко.

— Прощайте, — Алексеев мотнул головой. — До завтра.

Он подался прочь, и издалека опять донесся его кашель.

Мы с Николаем Андреевичем молча шли по неосвещенной улице. В редко стоявших вдоль дороги домах светились неяркие огоньки, жестко скрипели шаги.

Обмели голиком снег с обуви на ступеньках крыльца, вошли в сени. Нашарив в темноте дверную скобу, Николай Андреевич пустил меня вперед и, чтобы не выстудить комнату, поспешно захлопнул за нами дверь. Прижимаясь к полу белесым паром, пополз и растворился в тепле уличный мороз. Ночная стынь осталась за обитой мешковиной дверью.

Приветливо светила пузатенькая керосиновая лампа, и казалось, тепло в комнате исходит от ее раздвоенного сердечком огонька. Ссутулившаяся, с пучком седых волос на затылке мать Николая Андреевича что-то штопала возле печки.

— Вот — Диму привел погреться. — Николай Андреевич озябшими пальцами растегнул свое поношенное пальто. — Я тебе, мама, о нем рассказывал.

Желтый свет падал на столешницу, некрашенный пол, на занавеску за печкой; навверное, занавеска отгораживала закуток с кроватью, вторая кровать стояла напротив у стены, и над ней был прибит коврик. Обхватив руками колени, с коврика печально глядела на темную гладь пруда сестрица Аленушка.

— Замерз? — Старушка отложила штопку, и по тому, что спросила, не повысив голоса, я понял, что она обращается ко мне. — Клади, голубчик, рукавицы на плиту. Сюда, сюда, — с краешку на кирпичи. И разувайся быстрей... Коля! — крикнула она. — Пододвинь ему табуретку.

Я снял ботинки, отодрал пристывший к стельке носок и вытянул ноги к горячим кирпичам. От нестерпимой ломоты хотелось

кричать.

— Поморозил?

— Пройдет... Это всегда так.

— Коля-то в валенках, а в ботинках, голубчик, разве можно?

— Ты, мама, чаю налей. — сказал Николай Андреевич, грея над плитой руки.

— Сейчас, сейчас...

Она взяла с полки две фаянсовые с темно-синим рисунком и позолоченными обочками Бог весть откуда и как сбереженные чашечки.

...Фруктовый чай со слабым привкусом сладости и горечи. Черные липкие плитки его еще несколько лет продавались в магазине и после войны. Чай цвета васюганской воды, речная вода цвета чая...

Боль проходила, ломило лишь большой обмороженный прошлой зимой палец.

— Дима-то ведь по сути дела ослаб... Вперед свой паек выбрал. — Николай Андреевич смущенно посмотрел на мать. — Дай ему, мама, кусочек.

— Ты же, Коля, тоже слабый. — сказала старушка. — Я понимаю... но ты тоже...

— Он два дня без хлеба, мама.

— Хорошо, Коля.

С той же полки, где стояла посуда, она взяла из-под перевернутой эмалированной миски краюшку — граммов двести, бережно разрешила ее пополам и положила передо мной ломтик.

Коля, мама... Как трогательно они друг друга называли. Как стыдно было за тот дурацкий акт, который я сочинил...

— Ешь, голубчик.

Я не постыдился съесть кусочек хлеба, который они отняли от себя. Не мог удержаться. Отломил корочку, потом сгреб на ладонь крошки...

До сих пор из далекой темноты военной ночи светит мне тот огонек керосиновой лампы, помнится тот кусочек ржаного хлеба.

Последний раз мы виделись с Николаем Андреевичем в сорок седьмом. Я уже работал счетоводом колхоза, от райцентра жил без малого за двести километров — по тем временам не ближний свет, в Новый Васюган наезжал дважды в год — с отчетом да с приходно-расходной сметой. В сорок седьмом утверждать в район смету поехали мы с председателем в конце марта, когда, сбивая с бега лошадь, уже преступалась под копытами дорога, скатывалась в сбитые полозьями раскаты обрезавшегося зимника тяжелая кошева, а по реке сквозь выступила рыхлая наледь. На полпути к райцентру возле Желтого яра конь провалился под лед, еле его выручили, на постоялом обсушились, отогрелись и воротились домой.

Когда вскрылась река, первым парходом поехал в райцентр я один. Остановился у Степанихи, полдня протолкался в самосадном дыму у столов райзовского начальства, а вечером пошел подышать речной прохладой. Еще обитаясь тут в войну, любил постоять вечерами на берегу, и в деревне, где жил теперь, тоже тянуло меня к реке. Разливаясь весенним половодьем, надолго затопляла она пойменный противоположный берег со скинувшимися зеленью, а затем белоснежным цветом черемухами, летом скатываясь в русло, обнажала усеянную по кромке мокрой трухой песчаную отмель, на которой, когда удлинялись и холодали ночи, умирали, плотно сбившись в огромные кучи, белые бабочки, и лениво набегавшие волны смывали и вновь выносили на сырой песок тысячи их безжизненных крылышек.

Не было в тот край дорог, не летали туда самолеты, редко разносился по пустынной реке прерывистый стук буксирного или почтового катера, да раз в десять дней оглашал ее гудок колесного пархода. И рвалась, рвалась отсюда душа. Знал, что не вернуть потерянного, утраченного, но манила куда-то водная гладь — таежная река, по которой привезли меня в эти края.

Теперь уже много лет проживший в городе, изредка прихожу к другой сибирской реке, гляжу на ее усеянный бутылочным стеклом, ржавыми консервными банками и обрывками полиэтилена берег, и вспоминается мне тот другой, чистый, омытый первозданной водой,

мнится тихий шелест других волн, а потом ночами долго снятся следы чьих-то босых ног на мокром речном песке, и словно огромные трепещущие цветы, — сбившиеся в кучи белые бабочки.

Николая Андреевича я увидел издали. Он стоял ко мне спиной у полого подымавшегося взвоза, но я узнал его нескладную фигуру, склоненную набок голову в довоенной, давно потерявшей первоначальный вид, расплуснутой кепке.

Я подошел к нему. Не замечая меня, он, понурившись, глядел за реку, где гребенчатая кромка леса подернулась вечерней дымкой, и взгляд его был отрешенным.

— Николай Андреевич! — окликнул я. Толстовка на нем была новая, но словно сшитая на вырост, такая же мешковатая, как и та, что он носил прежде.

— А-а, Дима.

Я никогда не видел, чтобы он улыбался, когда бывал чему-нибудь рад, лишь вроде светлел лицом, становившимся по-детски простодушным. Но сейчас в его глазах была грусть. Он протянул мне теплую ладонь:

— Приехал... Как живешь в деревне?

— Ничего, — крикнул я.

Два года, как кончилась война, но жизнь оставалась трудной. Копейки на трудодни, налоги, поставки, займы... Работа, работа... И вольного хлеба еще не было.

— Вот с приходно-расходной сметой приехал.

— Ну, да, по сути дела... Колхоз-то большой?

— Двадцать девять дворов.

Мне показалось, что он не понял, вроде стал еще хуже слышать, чем прежде.

— С учета комендатуры тебя не сняли?

Я не ответил.

В сорок первом, когда нас привезли на Васюган, районный комендант заставил маму подписать бумагу о том, что мы сосланы на

двадцать лет. И все же я надеялся — кончится война, может быть, отпустят, но все оставалось как прежде. Сосланных в тридцатых годах спецпереселенцев открепили, новый контингент — нет. Значит, отбывать еще четырнадцать лет...

Говорить об этом не хотелось.

Николай Андреевич тоже молчал. Наверное, не о чем было спрашивать. Плескалась внизу еще не присмирившая после весеннего половодья река, по которой я когда-нибудь уеду.

— А как... — начал было я, вздумав спросить Николая Андреевича про старушку мать, но вдруг ощутил в его взгляде безысходное одиночество и такую тоску, что все понял.

И все же что-то мне хотелось ему сказать.

— В кино бываете? — крикнул я.

— А? — переспросил он

— В кино, говорю, ходите?

— А-а... На днях ходил. По сути дела хороший фильм — «Серенада солнечной долины». Музыка прекрасная... — Помолчав, он повторил: — Прекрасная.

Когда на следующий год я приехал в Новый Васюган, Николая Андреевича там не было — он уехал не то к безногому брату, не то к сестре в Подмосковье.

Наверное, его уже давно нет в живых...

Славный мой, Николай Андреевич, прости меня.

Прости...

1993 г.

ОТЦВЕЛИ УЖ ДАВНО ХРИЗАНТЕМЫ...

НА ПРИСТАНЬ Коробов пришел, когда до отплытия «Метеора» оставалось полчаса. Было сумеречно, сыро, над Томью висел густой туман, и хотя пассажиров с рюкзаками, сумками и самодельными коробами для клюквы, с которыми осенью горожане устремляются на север, начали пропускать на посадку вовремя, об отплытии объявили по динамику, лишь когда за бортом сквозь просветлевшую мглу проступил нечеткий противоположный берег с редкими, непогашенными огнями, а утренний туман рассеялся настолько, что впереди стала видна излучина еще дымящейся глади реки.

В мужском свитере, вылинявшей джинсовой юбке и натянутых на худые лодыжки носках сухопарая женщина-матрос с аляповато подведенными темно-синей краской глазами, шлепая сандалиями, прошла по салону и, заставив кого-то из пассажиров убрать с прохода громоздкий багаж, поднялась на палубу отдать чалку. Резко взвыла сирена, теплоход, оттолкнувшись от дебаркадера, приподнялся на подводных крыльях и, наращивая скорость, понесся вниз по Томи. За ключьями тумана остались сгрудившиеся у пристани катера и речные трамваи, кирпичные склады, кучи намытого на берег гравия, стенка грузового причала с подъемными кранами, жмущиеся к реке старые улочки с одноэтажными домами и дощатыми сарайчиками... Миновали поворот, и справа возник отрубистый яр с прячущимися за его кромкой пятиэтажками, следом потянулся темный зубчатый ельник, за которым еще долго виднелись трубы со словно застывшими сизо-сиреневыми дымами.

Коробов, всегда плохо спавший накануне любой поездки, отвернулся от наполовину прикрытого шторкой окна и, убаюканный монотонным гулом двигателя, почти мгновенно уснул. Когда пробудился, «Метеор» уже вырвался из устья Томи и убегающая за бортом зеленоватая обская вода отражала бликующей

рябью прояснившееся небо. Тянулся отодвинувшийся берег со стожками пожухлого сена, промаячили далекие опоры высоковольтной линии, выцветшая палатка, белесый дымок догорающего возле нее костра... Исчезало из виду одно и возникало другое: рощица желто-багровых осинок, щит белого бакена у устья пересохшей протоки, промчавшаяся лодка с подвесным мотором на низко осевшей корме... И только скучившиеся над невидимым с реки горизонтом палевые облака недвижно стояли над бесконечным обским плесом.

Стараясь не потревожить уснувшего рядом бородатого парня и припавшую к его плечу девушку со свесившейся на миловидное личико прядью рыжих волос, Коробов встал с кресла и по крутой лесенке поднялся на палубу. Достал из кармана плаща пачку сигарет, но встречный ветер, не давая закурить, моментально задувал пламя спичек, и, выбросив за борт тут же унесенную потоком воздуха смятую сигарету, Коробов облокотился на холодные поручни и долго смотрел на простор уходившей вдаль реки. Проплывали мимо отмели с принесенными половодьем почерневшими скелетами деревьев, возле которых на заструганном волнами песке сновали долгоногие кулики, разминувшись с нагруженной лесом самоходной баржей, прошел встречный речной трамвай, из рубки которого просигналили «Метеору» флажком, и Коробову вспомнились колесные пароходишки, когда-то ходившие по реке, на берегах которой осталась его молодость.

Не было в том краю ни тракторов, ни дальних дорог, в конце ноября, когда застывали болота, от поселка до поселка проминали по снегу на лошадах зимник, летом к далеким городам и весям вела одна дорога — Васюган. От Каргаска, что стоит на привольном обском берегу, неделю плыл до районного центра — Нового Васюгана колесный пароходишко, оглашая гудками пустынные плесы. Ждали его во всех побережных поселках, ждали те, кому было кого встречать, ждали и те, кому встречать и провожать было некого. И в убогой Светлянке, где тогда жил Коробов, заслышав далекий гудок, спешили на излуку берега стар и мал. Показавшись из-за поворота, пароход вскрикивал вырывавшейся возле дымящей трубы струей пара, и это мгновенно таявшее облачко возникало прежде, чем доносился к стоявшим на берегу возвещающий о прибытии гудок.

Шлепая по взбаламученной воде лопастями колес, пароход долго подбивался к прокопанному на гору пологому взвозу, капитан что-то кричал из рубки вниз в машинное отделение, пароход сносило течением, наконец, он подчаливал, и матросы с закатанными до колен штанинами, из которых торчали босые ноги, бросали с палубы носовую и кормовую чалки, а шустрые ребяташки, подхватив их, накидывали петли тяжелых канатов на нахилившиеся к воде стояки.

Отмахиваясь от комаров, у борта толпились ехавшие мимо Светлянки пассажиры, некоторые, сбжав по спущенному на приплесок трапу и увязая в непросохшей глине, торопились наверх к лавке сельпо, где в конце сороковых годов уже можно было купить папирос, слипшихся конфет, тминной или анисовой водки. Вскоре всё окрест оглашал короткий гудок, спустя непродолжительное время он настойчивее звал дважды, и пассажиры, успевшие что-то купить, и те, что лишь поглазели на бойкую продавщицу, бежали обратно. Матросы затаскивали на палубу затоптанный трап, и пароход, выдохнув скопившийся горячий пар, отваливал от берега и медленно уходил за излучину Васюгана. Скрывалась с глаз белая надстройка на палубе, заносило к затопленным тальникам корму с выцветшим флагом, но еще долго бились об источенный стрижиными гнездами яр угасающие волны. Светлел, рассеиваясь над водой, дым, успокаивалась разволновавшаяся река, то стихало, то становилось слышным с бесчисленных извивов и плесов утробное дыхание парохода.

А неделю спустя вновь сзывал гудок на берег тех, кто был в то время дома или где-то поблизости. Но редко кто, кроме районных уполномоченных, навевался в Светлянку и редко кто из местных деревенских отсюда уезжал. Как почти все поселения по Васюгану, возникла Светлянка в начале тридцатых годов, когда завезли обживать этот забытый Богом край лишенных права покидать здешние берега раскулаченных крестьян, даже в первый год войны не брали отсюда мужиков на фронт, и только осенью сорок второго отправили выживших после самых тяжелых первых лет ссылки деревенских парнишек защищать родину. Те из них, что уцелели на войне, ненадолго вернувшись, забрали родителей и уехали с ними в прииртышские и алтайские села, откуда в свое время были высланы, некоторые подались с родителями в города, навсегда порвав с

деревенской жизнью. Семьи, где фронтовиков не было, хотя считавшиеся после войны уже вольными, из колхозов не отпускали. Паспортов колхозники не имели, а без документа ты везде беглый. И все же некоторые отчаянные бабы и мужики умудрялись уехать и прибывались на жительство где-то возле далекой или ближней родни.

Но Коробов, которого летом сорок первым мальчиком привезли с матерью и малолетней сестренкой из Прибалтики на Васюган, где год спустя он схоронил их обеих, еще много лет и после войны, как все именовавшиеся здесь «новым контингентом» ссыльные с запада, имел право сходить только в соседний поселок или с разрешения местного коменданта побывать по неотложным делам в районном центре, откуда сбежать было невозможно — выше река сужалась, мелела и терялась в непроходимых болотах. В низовье за пределы района путь ему был заказан.

Безостановочно нес к Оби Васюган свою торфянистую цвета чая воду. Быстротечную весну сменяло комарное нарымское лето, плакали дождями ненастные осени, и, когда уже утрами подергивались серебрившимся инеем крыши изб, уходил с холодного Васюгана последний пароход. А в мае снова взламывала река оторванный от берегов вешней снеговой водой лед, вновь, роняя черемуховый цвет, весна переходила в дымокурное лето, и вновь укорачивались дни, холодней, непрозрачней становились ночи; быстротечное лето сменяла осень, и, когда, предвещая зиму, над печальным обнажающимся лесом и мокрым жнивьем начинали роиться первые снежинки, тоскливыми гудками прощался с побережными поселками уходивший в затон пароход.

Извечен круговорот в природе, но безвозвратно уходили годы, пролетела юность Коробова, кончилась молодость, но продолжала жить надежда — минет еще одна зима и настанет та долгожданная весна, когда сможет он уплыть отсюда на пароходе туда, где уже ставшая ему неведомой, но все равно иная, чем здесь, жизнь. Там, далеко от этой печальной реки, опять, как в детстве, услышит шум прибоя, крики чаек, ощутит запах моря, теплые волны которого будут накатываться на золотистый пляж, смывая чьи-то песочные крепости и заплывающие текучим песком следы босых детских ног.

Будет солнечный ветер, будет легко на душе, сверкающее зеркальными бликами море будет сливаться на горизонте с небом, и там по кромке неба будут плыть в неведомые страны большие белые корабли.

Неизбывная память, неизбывная грусть, неизбывная надежда.

Лишь через семнадцать лет поехал Коробов туда, где оборвалось его детство. Был уже вольным, обрел семью, уезжал не насовсем, а лишь чтобы увидеть те места и поклониться навеки ушедшему. За прожитые в деревне годы привык к деревенскому бытию, ладу, к деревенским звукам и голосам, и, сойдя с парохода в Новосибирске, ощутил себя неприкаянным в огромном дымном городе с его мрачными многоэтажными строениями, несущимися по улицам трамваями, потоком куда-то спешащих, занятых собой людей. Переночевал на многолюдном вокзале, и наутро поезд повез его далеко, далеко на запад в тихий прибалтийский городок Нарву. Но там уже не было Рыцарской улицы, на которой он жил с родителями, не было ни старинных бюргерских домов под черепичными кровлями, ни увенчанной флюгером ратуши на старой площади, ни пропахших слежавшимися книгами букинистических лавок, ни уютных булочных с позолоченными кренделями над дверями, открывая которые, он когда-то слышал мелодичное позвякивание колокольчика... Булыжные мостовые, по которым в пору его детства клацали подковами извозчицы лошади, были покрыты асфальтом, а на месте гимназии, где он учился накануне войны, возле засыхающих каштанов лежали груды необрушенных кирпичей. Всё, столько раз видевшееся в светлых снах, смела война, чудом уцелели лишь православный собор неподалеку от вновь отстроенного вокзала, да две угрюмо смотревшие друг на друга через порожистую реку изглоданные снарядами крепости.

Были другие улицы, другие памятники, другие, не похожие на прежние, дома. Город населяли приехавшие сюда после войны люди, и никто здесь не мог помнить мальчика, который жил тут до них в навсегда исчезнувшей Нарве... Жил, не ведая того, что это самое счастливое время его жизни.

На пригородном автобусе поехал к близкому отсюда морю и, когда шел по песчаной дорожке через сосняк в сторону на-

растающего шума прибоя, почему-то вспомнил сосны у проселка, ведущего из Светлянки в соседнюю деревню. Ветер с залива гнал клубящиеся черные тучи, тревожно шумел в кронах сосен, и открывшееся в просвете между деревьев море было тоже мрачным и беспокойным. Зарождавшиеся в затуманенной дали бесконечные гряды волн накатывались на безлюдный пляж и, распластавшись на сыром песке, устремлялись обратно к настигавшим их водяным валам, которые, колыхая космы водорослей, вновь яростно обрушивались на пустынный берег. Помнившаяся Коробову широкой и светлой полоса между морем и соснами словно сузилась, все стало иначе, было неуютно, холодно, и, постояв на сыпучем песке, он вернулся к павильону, возле которого останавливались автобусы...

Еще три года после той поездки прожил Коробов в Светлянке и покинул ее, когда этому поселку, как многим другим таким же деревенькам, существовать осталось совсем недолго. И, пока был виден с палубы исчезающий за поворотом яр, всё глядел на этот удаляющийся берег, над которым, словно догоняя увозивший его с семьей колесный пароходик, бежала вслед ему речная волна, глядел на стоящих у обрыва людей, запряженную в телегу понурую лошаденку у поросшего по обочинам лопухами взвоза, глядел на скрывающиеся с глаз избытые крыши, под одной из которых жил, печалился, но и чему-то радовался тоже. Глядел, еще не осознавая, что навсегда уходит еще что-то столь же значимое для него, как и ушедшее детство.

Потом, уже в Томске, весной во время ледохода приходил к Томи, подставив лицо весеннему ветру, слушал шорох густо плывущих толкающихся льдин и долго смотрел, как переполнившаяся вешними водами река несет к Оби распростертый от берега до берега ковер изломанного льда; смотрел до тех пор, пока не начинало казаться, будто это он вместе с набережной и городом плывет куда-то мимо неподвижной белой реки. Вспоминал, как в Светлянке поглядеть на ледоход сбегались все тамошние деревенские, и было сейчас странно, что на набережной так мало городских. Но и Томь не походила на Васюган — другие берега, другая вода, другие плесы... Когда река очищалась ото льда, он шел на пристань, где у причала стояли пароходы. Большие, нарядные —

они тоже не были похожи на пароходишки, которые когда-то ходили по теперь уже опустевшему Васюгану, они не возвращали его памятью к горькой, но и светлой молодости, а лишь напоминали, что все безвозвратно ушло и уходит. С годами он перестал бывать у реки, но, когда, идя по улице, слышал вдруг донесшийся оттуда гудок, его долго томило что-то печальное и трогательное.

Теперь, когда его жизнь была на исходе, он делил прожитые им годы на разительно отличающиеся друг от друга периоды, на три разные жизни: бедное, но светлое детство, оставшаяся на Васюгане молодость и последовавшая затем жизнь в городе. И хотя последняя была дольше вместе взятых предыдущих двух, чаще обращался памятью к тем предыдущим, нежели к как-то незаметно пролетевшей городской. И друзьями его были сверстники, чьи детство и молодость прошли там же, где его, те, с кем он мог вместе вспоминать людей, которые были рядом, дороги, которые вместе прошли, вспоминать когда-то единые для них беды и радости, говорить о давнем, одинаково им помнящемся, вспоминать не в одиночестве, а вместе, облегчая истомленную воспоминаниями душу. Жена его второй год как умерла, он жил одиноко, и сейчас ехал на Север к одному из этих уже немногих своих друзей. В последнее время их оставалось всё меньше, и сам он всё чаще задумывался о приближающейся смерти.

...Уходила вдаль беспредельная сибирская река, белели в гонимых ветром волнах пирамидки бакенов, скрылись из виду скучившиеся на кособоре домишки какого-то селения, остался за пологим поворотом слоистый яр, под которым упруго вздрагивали сползшие в стрежь кусты с лохмотьями высохшей тины — погибающие, обреченные, еще держащиеся корнями за ушедшую под воду землю, на которой росли... Поросшие после сенокоса высокой отавой пойменные луга, блескучая, как рыба чешуя, обская зыбь, молодая женщина, машущая рукой с отмели, парнишка возле вытащенного на приплесок обласка, прыгающая по волнам моторная лодка... Гаснет за кормой теплохода дорожка пенного следа, всё позади, всё мимо, мимо...

Одинокое облако напоззло на солнце, накрыв реку тенью, вода помрачнела, померкли дотоле яркие краски берега, стало зябко на

палубе, и Коробов спустился в салон. Бородатый парень с прислонившейся к нему девушкой по-прежнему спали, некоторые пассажиры, достав из полиэтиленовых пакетов припасенную еду, завтракали, кто-то читал или решал газетные кроссворды. Коробов взял в дорогу купленный накануне детектив, но читать не хотелось, и, привалившись к зачехленной спинке сиденья, он снова задремал.

Сквозь беспокойный сон слышал, как по динамику объявляли о попутных пристанях, к которым, сбавив ход, причаливал теплоход, слышал разноголосый гомон занимавших места в салоне пассажиров и снова, убаюканный гулом двигателя, погружался в забытие. Иногда снизу по приподнятому над поверхностью воды корпусу стучали расходящиеся за встречными судами волны, «Метеор» потряхивало словно телегу на ухабистой дороге, отчего казалось, что двигатель работает с перебоями, но волны оставались позади, гул становился ровным и усыпляющим.

Пробудился Коробов от сильного удара по днищу теплохода. Гул смолк, и осевший «Метеор» медленно несло по течению.

— Кажись, приехали, — громко сказал кто-то в наступившей тишине.

Но через несколько долгих секунд двигатель заработал, вновь за бортом «Метеора» стремительно понеслась зеленоватая обская вода и потянулись однообразные пойменные луга.

— Что, командир, чепе? — снисходительно спросил бородатый парень появившегося из рубки щеголеватого капитана.

— Ничего страшного. — Капитан хмуро посмотрел на парня, затем на сидевшую рядом рыженькую девушку и сказал другим тоном:

— На топляк наскочили... В Колпашево придется задержаться.

— Надолго? — обиженно поинтересовалась рыженькая.

— Часа на три. Нам еще там и заправиться надо, — словно извиняясь, бросил, направляясь к ведущей на палубу лесенке, капитан.

— Да уже вот оно, Колпашево, — певуче произнес сзади чей-то женский голос.

Из окна были видны растянувшиеся вдоль реки здания, внизу теснились приткнувшиеся к берегу катера и моторные лодки, чуть поодаль у причала стоял похожий на длинный белоснежный дом, превращенный в турбазу двухпалубный теплоход. И опять вспомнились Коробову казавшиеся ему большими и красивыми, Бог весть где обретшие свой последний причал, когда-то бередившие гудками душу колесные пароходики.

— Пристань Колпашево, — простуженным голосом оповестил динамик. — В связи с необходимостью...

Заглушая слова, в динамике что-то зашорохтело, затем голос уже внятно произнес:

— Отплытие в шестнадцать ноль-ноль. Транзитные пассажиры могут отдохнуть в здании речного вокзала.

— Ну вот, — так же обиженно сказала рыженькая девушка. — В Томске на час задержали, теперь тут на три часа.

— Три часа, — повторил про себя Коробов. — Целых три часа.

В Колпашево до этого он бывал дважды, и то лишь проездом. Пока теплоход заправляли, сходил на берег, и всякий раз его охватывало волнение — в этом городе жила та, кого он когда-то любил. То была его первая запоздалая любовь, навсегда оставившая на его сердце зарубку из-за своей безнадёжности.

Когда он впервые побывал здесь, уже минуло больше двадцати лет, с тех пор как расстался с той, которую по-прежнему мысленно называл Таней. Давно прошла их молодость, давно разошлись когда-то пересекшиеся на Васюгане их дороги, но ему так хотелось ее встретить... Сойдя тогда на дебаркадер, искал ее глазами среди тех, кто кого-то встречал или провожал, затем поднялся по пологому склону к хранящему тень островку кедрача и пошел по берегу, вглядываясь в лица встречных женщин. Он был уверен, что узнает ее, так же, как узнает его она; встретив, спросит, как она теперь живет, подразумевая что-то другое, важное для него но, что бы она ни ответила, всё поймет по ее глазам. И, может, то, что когда-то в его жизни было столь значимым, для нее не существенное, давно забывшееся ... Но всё равно хотел встретить, услышать ее голос, коснуться ее руки... Ходил взад-вперед по ближней к пристани улице

и всё надеялся.... Солнечный свет на мощенной чурочкой мостовой чередовался с падавшими на нее тенями, он видел женщин то ярко освещенными, то идущими навстречу сквозь прозрачное затенье, но не было среди них той, которую искал.

Он любил свою жену, выросли его дочери, со временем Танино лицо стерлось в его памяти, но однажды в Томске на троллейбусной остановке около университета увидел в стайке молоденьких студенток чем-то удивительно на нее похожую. В нагретом воздухе роился пух поседевших тополей, и чудилось — в бесшумной пурге рядом с ним на переметенной снегом дороге та восемнадцатилетняя девчонка из его прошлого. Заметив, что кто-то на нее смотрит, студентка удивленно вопросительно глянула на него, и он, смутившись, отвел взгляд... Качнулись подрагивавшие над проспектом провода, подошел троллейбус, отворились и жестко сомкнулись дверные створки, и порыв ветра, взметая с опустевшего тротуара невесомый пуховой покров, погнал вслед троллейбусу июньскую поземку... Впоследствии, когда Коробов пытался представить Таню, перед его мысленным взором возникало лицо той, оказавшейся рядом, студентки, но со временем и оно забылось.

В следующий раз он был в Колпашево проездом одиннадцать лет спустя. Поредел кедряч за речным вокзалом, чурочки торцевой мостовой были залиты шершавым асфальтом, рядом с деревянными домами появились новые кирпичные, всё бывшее уже тогда давним, отодвинулось еще дальше в прошлое. И снова он пошел по той же протянувшейся вдоль Оби улице, и опять, как одиннадцать лет назад, временами издали казалось — навстречу идет она. Но сокращалось расстояние, и видел, что та, кого он не терял надежды встретить, ему лишь померещилась. Предвещая грозу, постукивал гром, безветренным был пыльный воздух, недвижна листва деревьев, и, спасаясь от надвигавшегося дождя, Коробов вернулся на пристань.

Все чаще его мысли тянулись к тому светлому, что было в невозвратной молодости, быть может, мнящемуся более радужным, чем на самом деле, потому как то небольшое на исходе лет память высветляла особенно ярко и тепло. И сейчас, оказавшись в Колпашево, он опять поднялся по склону в город, еще надеясь встретить ту, что была для него частичкой того светлого.

Впервые он увидел Таню в далеком сорок седьмом. Шел второй год после войны, еще не было вольного хлеба, во всем ощущалась нужда, но уже он пережил самое страшное: разлуки, безысходность, голод, ожила надежда, был он молод, и была впереди жизнь. Только не знал, что на исходе ее так часто станет вспоминать прошлое.

Из Светлянки, где он второй год работал счетоводом колхоза, до Нового Васюгана добирались с председателем трое суток, дорога была бродной, зимник перемело, конь тянул кошеву тяжело в упор — в феврале в тех краях всегда воют последние злые метели. Весь тот день он провел в райзо, куда съехались с годовыми отчетами счетоводы и председатели из ближних и дальних сел. В жарко натопленном помещении дробно стучали костяшки конторских счет, счетоводы, в основном женщины, занимали очередь у заляпанных фиолетово-зелеными чернилами столов, за которыми уставшие работники земотдела сверяли цифры в начерно заполненных карандашом таблицах, что-то выясняли, уточняли, заставляли переиначить, либо, сами стерев замусоленной резинкой какую-нибудь цифру, вписывали другую.

Председатели колхозов слонялись по кабинету, чем-то друг перед другом хвастались, на что-то сетовали, курили самокрутки и ждали, когда счетоводы закончат свои дела и всех поочередно начнут вызывать отчитываться на заседании исполкома, после чего можно разъезжаться по домам. Иногда кто-нибудь из женщин отворял форточку проветрить помещение, и висевшая под потолком дымная пелена, колыхнувшись, устремлялась навстречу врывающемуся с улицы морозному воздуху, но вскоре форточку закрывали, и снова в кабинете густел самосадный дым.

Несколько раз однорукий Иван Егорович, с которым приехал Коробов, докучающе спрашивал:

— Ну, скоро?

— Да мне и завтра не управиться, — виновато отвечал тот, и Иван Егорович, убедившись, что, вероятно, это в самом деле так, ушел проведать отдохавшего с дороги в райкомхозовской конюшне колхозного Гнедка, после чего подался к еще до войны перебравшейся в райцентр родне, у которой остановился вместе с Коробовым на постой. А Коробов, протолкавшись в райзо до конца

рабочего дня, оставил у землеустроителя свой так и не проверенный отчет, и, поужинав за три рубля в сельповской столовой, отправился в клуб, у входа в который на куске фанеры было прилеплено размашисто написанное красными чернилами объявление: «Свинарка и пастух. Нач. в 7 и 9 ч.» На бумаге проступали еще какие-то буквы — афиша использовалась с обеих сторон. В Светлянку кинопередвижку привозили редко и в основном немые фильмы, а здесь, в районном клубе звуковое кино крутили почти каждый день.

Пришел он за несколько минут до начала сеанса и, сдернув с головы заячью шапку, устроился в последнем ряду у стены, с которой глядело в зал окошечко кинобудки. Фильм уже начался, когда, задев Коробова коленками, торопливо протиснулась и села по соседству девчонка в стеженной телогрейке. В полутьме он искоса глянул на нее — длинные ресницы, прямой носик, выпущенная на лоб из-под вязаного берета короткая челка... Он перевел взгляд на экран, но продолжал ощущать присутствие соседки, которая не прошла дальше, где тоже были незанятые места, а села с ним рядом. Когда кончилась первая часть и в зале зажегся свет, опять посмотрел на нее. Глаза их встретились, и Коробов сконфузился. Девчонка улыбнулась:

— Хорошее кино. Ага?

Коробов кивнул.

Губы у нее были пухленькие, четко очерченные, от улыбки на щеках появились ямочки. Она сняла берет и тыльной стороной ладони откинула с затылка рассыпавшиеся русые волосы:

— Третий раз смотрю.

— А я — в первый, — почему-то соврал он.

— Сейчас самое интересное начнется. — Девчонка заговорщически понизила голос. — Только я не буду рассказывать, а то тебе неинтересно смотреть.

Помолчала и по-детски испытующе посмотрела на Коробова:

— Ты в Москве бывал?

— Нет, — так же шепотом ответил он.

— И я не была. А в Новосибирске?

— Был...

В Новосибирске из запертого на засов товарного вагона он видел только железнодорожный вокзал. На нижних нарах надсадно плакал грудной ребенок, из-под дощатого пола несло мочой, испражнениями и креозотом, снаружи что-то лязгало, слышались голоса конвоиров, и в забитое железными прутьями окошечко у верхних нар, на которых он, скрючившись, сидел рядом с матерью и пятилетней сестренкой, была видна верхняя часть огромного светло-зеленого здания, нижний этаж которого загораживал состав мазутных цистерн. И каждые тридцать минут по свободному пути между этим составом и гулаговским товарняком проходил на запад воинский эшелон. Протяжным гудком оповещал о себе приближавшийся паровоз, нарастал перестук вагонных колес, катились платформы с пушками, танкетками, зарядными ящиками, мелькали просветы между бурыми вагонами, мелькали лица, пилотки и гимнастерки навалившихся на перекладины открытых дверных проемов красноармейцев. Скрывался последний вагон, оседал угольный дым, а через полчаса снова крик паровоза, платформы, вагоны, тяжкий перестук колес безостановочно проходящего эшелона...

— А я училась в Новосибирске, — сказала девчонка, легонечко вздохнув. — Тебя как зовут?

— Коля.

— Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. — Она улыбнулась, отчего на ее щеках опять появились и сгладились ямочки. — У меня младший брат — Коля. А я — Таня.

— У меня была двоюродная сестра Татьяна, — сказал Коробов. — Но дома ее Татой звали.

Погас свет, из окошка над их головами протянулся пыльный луч, зазвучала музыка, на экране возникли выставочные павильоны, фонтаны и двое, идущих рядом, еще не признавшихся друг другу в любви.

В зале засвистели.

— Опять киномеханик части перепутал, — обиженно произнесла Таня. — Чего он такой непутевый?

Изображение исчезло, в темноте проступило полотно экрана, стало слышно, как за стеной заменяют бобину. Несколько долгих минут, и ожили другие тени, зазвучали сопровождающиеся потрескиванием киноаппарата голоса актеров. Пока шел сеанс, в зыбком полумраке Коробов поглядывал на соперничающую тому, что происходит на экране, Таню, ему хотелось осторожно дотронуться до ее лежащей на подлокотнике между сидений руки, но он не смел.

Фильм окончился, в неверном свете свисавших с потолка голых лампочек белел слепой кусок полотна, и все, только что заставлявшее наивно верить в кем-то придуманную жизнь, чьи-то страдания и чью-то любовь, исчезло с последним подрагивающим титром, завершающим фильм аккордом музыки, оборвавшимся шорохом раскрутившейся киноленты. Медленно продвигаясь вслед за теснящимися к дыгнувшему стужей выходу зрителями, Коробов пытался не отстать от Тани, тронувшей его доверчивой непосредственностью, а может, ее беретик напомнил ему оставшуюся за гранью другой жизни гимназистку, в которую он когда-то был по-мальчишески влюблен. В той жизни все было иным, и, наверное, та нарвская гимназисточка не походила на эту ушедшую сейчас девчонку, но он вновь почувствовал одиночество, которое всегда ощущал в толпе.

Какой-то военный с двумя наряженными в привезенные из Германии или приобретенные у здешних ссыльных длинные зимние пальто спутницами оттеснил его от идущей впереди Тани, потом он пропустил еще несколько пробиравшихся к выходу женщин и, когда вышел из почти опустевшего зала на крыльцо, уже потерял ее из виду. На наметенные к одноэтажным домишкам улегшейся метелью сугробы падал жидкий свет чужих окон, с ночного неба глядела чуть выщербленная луна, и в ее холодном сиянии чьи-то удалявшиеся голоса и смех казались неуместно громкими и грубыми.

Опустив уши вышорканной шапки, он пошел по протянувшейся из конца в конец Советской улице, возвращавшиеся из клуба люди сворачивали к далеко отстоявшим один от другого домам, смолкали голоса, стихал скрип шагов, и только чья-то девичья фигурка маячила впереди на опустевшей дороге.

— Ведь это та девчушка, — обрадовано подумал Коробов и пошел быстрее.

— Слышу, кто-то меня догоняет, — с легкой укоризной сказала Таня, когда он поравнялся с ней. — Так и подумала, что ты.

Коробов смутился:

— Я не знал, что нам попутно. Ты на этой улице живешь?

— Ага, на самом краю.

— И я на краю... У Еремеевых.

— Ну, ну.

В интонации, с какой она это произнесла, Коробову послышалось недоверие.

— Вообще-то я живу в Светлянке, — пояснил он, вроде оправдываясь. — А сюда с годовым отчетом приехал. Мы с председателем всегда у Еремеевых останавливаемся.

— Ну, — промолвила Таня уже другим тоном. — Видела у их дома кошеву. Я через дорогу у Пестовых квартирую... Ты — колхозный счетовод что ли?

— Ну, — кивнул Коробов.

— Ну, ну. — Таня засмеялась, и опять на ее щеках обозначились трогательные ямочки.

Небольшого ростика, в еще не растоптанных чесанках, с заиндевевшим от дыхания у подбородка воротничком, была она такая ладная, аккуратненькая... Теперь они шли, почти касаясь друг друга, и Коробову было хорошо, что они опять рядом.

— Когда я был тут весной на курсах, почему-то ни разу тебя не видел, — чувствуя возникший внутри непонятный озноб, нарушил он затянувшееся молчание.

— Так я сюда в августе приехала, — оживилась Таня. — Направили товароведом в райпотребсоюз. Родители в Болотном, думала, буду после техникума где-нибудь ближе к ним работать, а меня сюда... А ты тоже в Новосибирске учился?

— Нет, — ответил Коробов не сразу. — Я был там проездом.

Когда прогромыхал последний воинский эшелон и начали перекликаться застоявшиеся паровозы, медленно стронулись с места вагоны гулаговского товарняка. Но через несколько минут тоскливо вскрикнул впереди паровозный гудок, и, освободив кому-то путь, товарняк остановился. Застучали, сталкиваясь по очереди, буфера, качнулись сидевшие на нарах люди, и по-прежнему из зарешеченного окошка виднелось светло-зеленое здание вокзала, верхние окна которого отражали невидимый из вагона солнечный закат. Минула ночь, сменяя томительный день, наступила другая, и в душной темноте кто-то из женщин сказал: «Значит, они ждут состав с нашими мужьями и всех оставят в этом городе...» Но ранним утром закричал паровоз, и товарняк переехал к речной пристани, у причала которой стояла большая черная баржа. И потом много суток горбатый катер тянул ее на буксире по широко разлившейся Оби. Казалось, нет у реки берегов, только редкие острова с убогими селениями, и чем дальше плыли на север, тем дальше отодвигались острова, реже были селения. Гасли за кормой зеленоватые обские волны, безутишно бубнил катер, бесконечными были дни, короткими светлые июльские ночи, и в сыром темном трюме мать говорила Коробову и его сестренке, что, наверное, где-то по этой реке плывет такая же баржа, на которой везут их отца, а впереди большой город, где все они, как и прежде, будут жить вместе... Но не было другой баржи, не было впереди большого города, и однажды, поднявшись утром из трюма на палубу, Коробов увидел приближившиеся берега с затопленными половодьем тальниками, увидел за бортом черную воду таежной реки и услышал навсегда вошедшее в его жизнь слово — Васюган...

— Хороший город Новосибирск. — Таня опять легонечко вздохнула, и ее дыхание сгустилось в морозном воздухе тут же исчезнувшим облачком. — Ты, однако, мерзнешь, Коля?

— Руки немножко, — пытаюсь унять дрожь, ответил он. — Пустяки.

— А мои — горячие. — Она сдернула с руки рукавичку. — Вот потрогай.

Коробов осторожно сжал Танину ладошку:

— Правда.

— Ночь какая месячная, — молвила Таня, высвободив руку. — Даже звездочки в небе затерялись.

По соседней улице кто-то запоздалый проехал на санях или в кошевке, удаляясь, прошорохтели полозья, и снова все стихло.

— А ты с кем живешь в этой Светлянке? — спросила Таня.

— На квартире, как и ты... А что?

— Просто так. А родители где?

— Умерли.

— Ты детдомовский?

— Нет, — неохотно ответил Коробов.

Похрустывал под валенками снег, покачиваясь, скользила по залитой лунным сиянием улице сквозная тень. У перекрестка на покосившемся столбе под жестяным абажуром горела лампочка, они вошли в ее рассеивающийся свет, еще одна ломкая тень возникла сбоку, скользнула вперед, вытянулась и, побледнев, слилась с опять появившимися силуэтами двух идущих рядом людей.

— Часто в кино бываешь? — спросил Коробов.

Таня пожала плечами:

— А что тут еще вечером делать? Только не люблю, когда конец грустный.

— Я тоже, — сказал Коробов. — Чарли Чаплина видела?

— Это про что?

— Артист такой американский — Чарли Чаплин. Очень знаменитый. Хочешь, расскажу фильм, где он играет? Называется «Огни большого города».

И Коробов стал рассказывать о маленьком бродяге, выдававшем себя за миллионера слепой цветочнице. О трогательной любви, о несчастье и счастье. Когда-то он смотрел этот фильм вместе с матерью, и временами у нее на глазах появлялись слезы. А он смеялся над забавным бродяжкой, который обманывал слепую девушку, потому что любил ее. Если бы Коробову довелось заново посмотреть то кино, наверное, он не только бы смеялся. И когда

пересказывал его Тане, по ее лицу видел, что она понимает бывшее там грустное, но почему-то она не смеялась, когда он рассказывал о смешном. Наверное, о нем он не умел рассказывать.

— Ну, вот и всё, — сказал Коробов о пересказанном им фильме или о чем-то еще, когда они дошли до окраины райцентра, за которым начинался низкорослый сосняк, в который уводил узкий, теряющийся в ночном лесу след:

— И неизвестно, что было с ним дальше? — спросила Таня.

— Нет... Может, поженились... Говорят, пока эту картину снимали, Чарли Чаплин влюбился в актрису, которая играла слепую цветочницу, и она вышла за него замуж.

Свет из задернутого занавеской окна, где жила Таня, освещал разметенную дорожку к отворенной калитке, длинную поленицу и наполовину засыпанное снегом голое деревце, на котором одиноко стыла не склеванная птичками гроздь рябины. По другую сторону улицы у Еремеевых в окнах было темно, там уже спали.

— Когда кино про любовь, поди, артисты взаправду влюбляются, — задумчиво произнесла Таня, и ставший облачком пара ее легкий вздох опять растворился в лунном свете зимней ночи. — А где ты видел это кино?

— В Нарве, — ответил он, пересиливая страх, что сейчас увидит в Танином взгляде холодную отчужденность, обрывающую что-то на короткое время сблизившее их.

— Я оттуда, из Эстонии... Из нового контингента...

— Я про кино спросила. — Таня сняла рукавичку и потерла ладошкой щеку. — Что ты из этих... сосланных, сразу поняла.

— А я подумал, — начал было Коробов и не договорил.

— Что?

— Ничего, — радостно сказал он.

— Ну, и не надо... Завтра пойдем в кино?

— Конечно пойдем...

Согревая ноги, Таня попрыгала на утоптанном снегу.

— А сейчас ступай, Коля, ступай.

— Сколь времени из-за тебя не сплю, — недовольно сказал из горницы женский голос, когда Коробов зашел с мороза в жарко натопленную комнату. — Сенную комнату на крючок закрыл?

— Закрыл, Евдокия Егоровна, — ответил Коробов и, быстро раздевшись, в нательном белье лег на расстеленный ему на полу тулуп. На другом тулупе, скрючившись, спал Иван Егорович. Временами он начинал всхрапывать, в горнице по соседству храпел с громким всхлипыванием его свояк, и от этого двойного храпа, проникавшего в комнату лунного света, а может, от вошедшего сегодня в жизнь радостного Коробов долго не мог заснуть.

Теперь, более полувека спустя, он уже не помнил, что за фильм они с Таней смотрели на следующий день. Помнил, что, возвращаясь из клуба, опять пересказывал ей виденное им в детстве кино, но какое, за давностью лет тоже забыл. Была такая же месячная ночь, пустынной улица, и так же невесомо скользила по снегу рядом их сдвоенная тень. Расставаясь, они долго стояли у свертка к дому, где квартировала Таня, его рука мерзла в прохудившейся варежке, и опять Таня, сняв свою рукавичку, согрела его пальцы. Сейчас на усыпанной листьями колпашевской улице он вспомнил то давнее прикосновение Таниной ладони, воскресла в памяти дорожка к крыльцу, искрящийся от падавшего из окна света сугроб и четко вырисовывающееся в сумеречной белизне оголенное деревце с реденькой гроздью рябины. Приподнявшись на носки, Таня попыталась ее сорвать и не дотянулась.

— Обожди, я достану, — сказал Коробов. Проваливаясь в сугроб, взобрался на калитку и нагнул ветку с одинокой гроздью.

— Не надо, Коля, ломаешь, — поспешно сказала Таня.

Отпущенная ветка осыпала их изморозью. Несколько рябинок упали к Таниным ногам, она подобрала со снега эти уцелевшие с осени сморщенные ягодки, положила одну в рот и протянула Коробову остальные:

— Попробуй, зимой шибко рябина сладкая.

Ему хотелось поцеловать эту милую разрумянившуюся девчонку, но он не осмеливался. Ему было девятнадцать лет, но он еще никого

не целовал, кроме матери и сестренки.

— В тебя... Кто-нибудь влюблялся? — спросил он, чувствуя снова возникшую, как вчера, дрожь в груди.

— Наверное, — ответила она простодушно.

— А сама?

— В восьмом классе... Только не очень. А ты?

— Тоже в восьмом.

— А там... У себя в деревне?

— Нет. — Дрожь не унималась. — Только тогда.

В лунном сиянии светлели заснеженные крыши и уходящий в сосняк санный след, медленно выползал белесый дым из трубы на соседней улице, где-то коротко залаяла собака, ей откликнулась другая, и опять стало тихо. Близко, близко было Танино лицо, ее глаза, губы...

Погас свет в доме, где она квартировала, и наметенный под окна снег померк.

— Ну я пойду, — нерешительно сказала Таня. — У нас уже спать легли.

— Да, да, — ответил он. — Иди.

Она странно посмотрела на него долгим взглядом, приподнявшись на цыпочки, неловко ткнулась губами в его щеку и, не оглядываясь, побежала по дорожке к крыльцу.

Он слышал, как стукнула закрывшаяся за ней дверь; счастливый, растерянный, долго смотрел на темные окна, представляя, как она заходит в переднюю комнату, снимает ватник и телогрейку, тихонечко, чтобы не потревожить кого-то, проходит дальше...

У Еремеевых, как и вчера, Евдокия Егоровна ворчливо спросила его, закрыл ли он на крючок дверь, так же, как вчера, скрючившись на расстеленном тулупе, всхрапывал Иван Егорович, и опять, как прошлой ночью. Коробов долго не мог заснуть.

А на следующий день вместе с Иваном Егоровичем он стоял у торца начинавшегося почти от двери крытого зеленой скатертью

стола, на противоположном конце которого под нависавшим со стены портретом Сталина в таком же темном кителе, какой был на тускло поблескивающем масляными красками вожде, сидел моложавый, но уже тучный председатель райисполкома. Справа от него, тоже в габардиновом кителе-сталинке, не мигая, смотрел на Ивана Егоровича и одновременно куда-то мимо узкоплечий с лысой яйцеобразной головой секретарь райкома.

По обе стороны стола расположились остальные районные начальники, и всем им потный от волнения Иван Егорович, запинаясь, читал выписанные ему Коробовым на листок бумаги данные из годового отчета: какие колхозу «Ленинский путь» были доведены планы посева, урожайности, надоев, поголовья скота, поставок зерна, молока, мяса и как выполнены эти и другие задания. Прочел, сколько средств ушло на уплату подоходного налога и страховых платежей, сколько потрачено на производственные нужды, сколько отчислено в неделимый фонд и что осталось для распределения по трудодням колхозникам...

Когда перечислил все, о чем было положено доложить, председательствующий спросил, сколько колхозников не выработали обязательный минимум трудодней и какие меры приняты к нарушителям устава сельхозартели. Иван Егорович ответил, — минимум не выработали четыре колхозницы, но потому как выполнять нормы выработки они не могли из-за своей слабосильности, мер к ним не принято. Спросили Ивана Егоровича, отчего никто не наказан за падеж двух лошадей, а Коробова — почему допущена дебеторская задолженность колхозников, после чего председатель исполкома предоставил слово районному прокурору.

Тот встал и обвел взглядом присутствующих:

— В прослушанном нами отчете мы, как говорится, не видим напряжения и мобилизации всех сил... Социалистические обязательства по сверхплановой продаже зерна не выполнены, сорваны задания по заготовке сена и вспашке зяби, и в то же время некоторые трудоспособные члены артели даже не выработали обязательный минимум трудодней... Товарищ Сталин указывает — женщина в колхозе — большая сила. Нужно, как говорится,

направлять эту силу, а не кивать на поводы. Невыработавшим минимум урезать огороды, чтобы больше времени уделяли колхозному производству...

Когда высказались еще два члена исполкома, также поучавшие, как надо работать колхозникам и руководить колхозом, председательствующий посмотрел на секретаря райкома — не хочет ли он выступить, но тот не пошевелился, и председатель исполкома подвел итог:

— Сегодня, когда весь советский народ самоотверженно борется за досрочное выполнение четвертой сталинской пятилетки, в колхозе «Ленинский путь» явно потворствуют злостным нарушителям устава сельхозартели. Председателю колхоза Беспалову неоднократно указывалось на его мягкотелость, но мы по-прежнему видим факты его нездорового настроения...

Выступавший говорил еще что-то несправедливое и обидное, но сюда в кабинет вызывали не за тем, чтобы слушать возражения, и Иван Егорович, пожелтевшими от курева пальцами старательно разглаживал на ядовито-зеленой скатерти бумажку, на которой было перечислено, что сделано колхозниками за 1946 год. Его пустой левый рукав был засунут в карман обвисшего пиджака, и Коробов, ощущая плечом жалкую культю руки Ивана Егоровича, стоял тоже опустив голову.

Облегченно он вздохнул лишь, когда, притворив обитую коричневым дерматином дверь, вышел вслед за Иваном Егоровичем в приемную, где ждали своей очереди председатели и счетоводы других колхозов.

— Ну как? — спросил кто-то.

Иван Егорович криво усмехнулся:

— Обнокновенно.

После, примостившись в райзо у краешка стола и набело переписывая утвержденный отчет, Коробов уже не вспоминал о тягостном заседании, и только становилось грустно, когда думал о предстоящем расставании с Таней. А на дворе за заиндеветшими над подоконниками оконными стеклами снова завьюжило. Когда вечером Коробов шел в клуб, ветер пробирал насквозь его

истончавшийся ватник, и, будто пытаюсь задержать приближающуюся весну, переметал ближние и дальние дороги. На куске фанеры, куда киномеханик прилеплял объявления о фильмах, трепыхался оборванный листок бумаги, по которому крупными буквами было выведено: «Танцы». В слабо освещенном тамбуре курили двое военных в белых полушубках, было натоптано и пахло папиросным дымом. Обметая валявшимся у порога голиком валенки, Коробов вошел в зал, откуда доносилась музыка, стряхнул с шапки снег и огляделся. Редкие электрические лампочки горели в полнакала, сиденья были сдвинуты к стенам, и на освободившемся пространстве шаркали валенками несколько пар девчонок. Вероятно, днем печи плохо протопили, танцевали в верхней одежде, и из-за опущенных на плечи полушалков девчонки казались сутулыми. В глубине сцены перед полотном экрана, покачивая кудрявой головой в такт музыке, играла на аккордеоне молодая ссыльная еврейка в облезлом плюшевом жакете.

Таня стояла в сторонке возле высокой почти под потолок печки и, увидев Коробова, издали улыбнулась ему. Смущаясь, словно вчера не она, а он неожиданно ее поцеловал, Коробов подошел к ней:

— Здравствуй.

Она на мгновение потупилась, но тут же вскинула на него радостный взгляд:

— Здравствуй.

— Я думал, будет кино, — сказал он.

— Я тоже. Говорят, картину не привезли.

— На тебе сегодня шарфик красивый.

— Ага... Горло болит, маленько простыла вчера. Они говорили об одном, но думали о другом и понимали недосказанное. Аккордеон то томно напевал, то что-то торопливо выговаривал; отведя в сторону сцепленные руки, кружились девчонки.

— Потанцуем, — легонько потянула Коробова за рукав Таня.

— Я не умею, — сказал он виновато.

— Ну?! — удивилась она. — Так это же нетрудно, пошли на круг. Пошли.... Я буду тебя водить. Клади мне на плечо руку. Вот так, так...

Не сутулься...

Он ощущал запах ее волос, чувствовал ее колени, и сильнее сжимал ее горячую ладонь в своей.

— Теперь кружись... Кружись. Слушайся меня. Вот так, так...

Все вокруг плыло, музыка звала, о чем-то напоминала, казалось — где-то он ее раньше слышал.

— Кружись, кружись, Коля. Не сжимай так сильно мне пальцы.

И опять сияющие Танины глаза были близко-близко.

Протяжно вздохнув, аккордеон смолк, еврейка потрянула головой, откидывая свисавшие на лоб темные кудряшки, и стало слышно, как за занавешенными окнами завывает ветер.

— Ну вот, а ты говоришь — не умею.

Они сели рядышком у сцены. Хлопала входная дверь, впуская холод и набиравшуюся в клуб молодежь, появилось несколько местных ребят, вошли курившие в тамбуре военные. Один из них остановился возле статной девицы с выпущенной на ватник косой, другой, пройдясь по залу, скинул с себя полушубок, и, бросив его на край сцены, опустился на свободное место рядом с Таней. Сидевшего по другую сторону Коробова опажнуло запахом «Шипра» и винным перегаром.

Лампочки под потолком то словно намеревались угаснуть, то набирали яркость.

— Ветер, паскуда, провода замыкает, — сказал лейтенант и обернулся к еврейке:

— Давай польку, Маргит!

Склонившись над аккордеоном и словно внимая лишь пока одной ей слышной мелодии, та развела меха. Свободное пространство снова стало заполняться танцующими.

Лейтенант встал и протянул Тане руку:

— Разрешите.

Замешкавшись, она посмотрела на Коробова и тоже поднялась.

Обхватив ее за талию и кружа, лейтенант, улыбаясь, что-то ей говорил, а Коробов с неприязнью глядел на ремешок его портупеи, хромовые сапоги и, казалось, продолжал ощущать исходивший от этого самоуверенного военного навязчивый запах.

Музыка умолкла, но, поглядывая на сцену, танцевавшие не уходили с круга, и вновь зазвучала задорная мелодия. Опять закружились пары, опять лейтенант, наклонив голову, что-то говорил Тане, и Коробов, чувствуя свою ненужность, томительно ждал, когда она вернется сюда, где рядом с его шапкой лежали ее зелененькие рукавички. Наконец музыкантша последний раз свела вздохнувшие меха аккордеона и устало сложила на нем бледные руки. Раскрасневшаяся Таня вернулась на место, а щеголеватый лейтенант по-свойски уселся рядом.

— Я, Таня, пойду, — понуро сказал Коробов, взявшись на шапку. — Завтра я уезжаю.

— Уже завтра? — спросила она упавшим голосом. — А когда приедешь?

— Не знаю, может, летом.

Будто только сейчас заметив Коробова, лейтенант усмехнулся.

Коротко мигнув, внезапно погасли электрические лампочки, и со словно упавшей сверху темнотой на мгновение в зале водворилась тишина. Медленно проступали белесые проемы окон, смутно белело Танино лицо, и Коробов почувствовал на своей руке ее теплую ладонь.

— Пойдем, Коля.

Кто-то около двери зажег серянку, колеблющимся огоньком высветив чьи-то лица, лампочки под потолком вспыхнули, и опять стало светло.

— Пойдем, — повторила Таня. — Нам в одну сторону.

Улица обдала холодом. Плывущие по выяснивавшемуся небу облака временами затмевали усеченную луну, которая, высветляя их бесформенные края, будто плыла навстречу рваному туману; снег уже не летел откуда-то сверху, а взметаемый с сугробов порывами стихавшего ветра, стлался поземкой вдоль дороги.

— Ты обиделся, что я с Жорой танцевать пошла? — спросила Таня, заправляя под воротничок шарф.

— Да ну, — с деланным равнодушием произнес Коробов. — Он тебе что-то интересное рассказывал?

— Интересное... Хвастался. Немка какая-то его шибко любила. Постылый он, к молоденьким ластится, а у самого жена не то в Сталинске, не то в Прокопьевске... Давай руку, варежки у тебя прохудились, заштопать некому. Как поедешь в таких?

— У меня еще верхонки есть, — ответил Коробов неохотно. Не хотелось разговаривать, было грустно.

— Далеко до твоей деревни? — спросила Таня, не отпуская его руку.

— Больше ста километров... Летом по реке двести с гаком. Да кто их тут мерил?

Он представил завтрашний день: скрипят полозья, потряхивается круп коня, по сторонам заметенные снегом согры, болота, тощий карагайник. Конский запах, изморозь на воротах тулупа и бесконечный, бесконечный зимник.

— А ночуешь где?

— На постоялых.

«Какая у нас с ней разная жизнь» — подумал он. Словно пытаясь догадаться, о чем он сейчас думает, Таня внимательно посмотрела на него.

— Почему ты сразу не сказал, что завтра уезжаешь?

Коробов не ответил.

Протаптывая по свежему снежному покрову две тянущиеся рядом тропки, они дошли до конца улицы. Окна крайних домов были темны, ветер улегся, и на проясневшем небе мерцали звездочки. Было тихо, как может быть тихо поздним вечером на окраине поселка, где нет ни машин, ни тракторов, а окрест на тысячи километров тайга и застывшие болота.

— Вот она — наша росстань, — промолвила Таня.

— Как ты назвала? — спросил Коробов.

— Росстань, — повторила она и, согревая ноги, постучала валенком о валенок. Что-то соображая, посмотрела на окошки дома, в котором жила, и с ребяческой решимостью выпалила:

— Холодно, Коля. Пойдем, посидим в тепле.

— Хорошо, — сказал он изменившимся голосом.

На крылечке она обернулась:

— Только не вольничай. Ага?

— Хорошо, хорошо...

— Осторожно, здесь столько всего наставлено, — сказала уже в темноте сеней и отворила дверь в комнату, откуда пахнуло теплом и запахом подгоревшей картошки.

На постеленном от порога половичке лежал переkreщенный тенью оконной рамы лунный свет, и в зыбком полумраке, наверное, все здесь казалось иначе, чем днем: темневшая за шестком заслонка русской печи, притворенная дверь в смежную комнату, пятно фотографии или картинки на стене рядом с отражавшим окно маленьким зеркалом...

— Я с хозяевами на их половине живу, — прошептала Таня. — А здесь за переборкой тоже квартирант. Мы с тобой тут возле окошка посидим. Ага?

— Танья? — окликнул ее кто-то из-за дощатой перегородки.

— Я, Арон Моисеич, — отозвалась Таня. — Меня тут знакомый до дома проводил. Холодно на улице, мы тут тихонько побудем.

— Зачем вы мне объясняете, Танья? — сказал за перегородкой тот же простуженный голос. — Или уже думаете — когда Арон Моисеевич был молодой, не провожал красивых барышень?

— Кто это? — шепотом спросил Коробов.

— Квартирант, я же тебе сказала. Тоже из ваших... Из сосланных... Кожевником в промартели работает. Говорит — дома свой магазин был.

Расстегнув верхние пуговицы телогрейки, Таня стянула с шеи шарф, сняла берет, и в льющемся из окна лунном сиянии метнулись ее волосы:

— Снимай свои пимы, просушить поставлю.

Присев на лавку, Коробов стащил с ног растоптанные валенки, и она, отодвинув печную заслонку, положила их на горячий под. Сунула туда же свои и села рядом с Коробовым:

— Расскажи что-нибудь.

— О чем? — спросил он хрипло.

— Не знаю... Кино какое-нибудь.

— Я все забыл, — произнес он, пересиливая судорогу в горле.

— Ну посидим так.

Приподняв за подбородок ее лицо, он вдруг начал целовать ее еще не согревшиеся с мороза щеки, зажмурившиеся глаза, податливые губы...

— Перестань... Перестань, ну зачем ты так? — чуть слышно шептала она, слабо сопротивляясь.

— Потому что люблю, люблю... — изнемогая от ее близости, дыхания, щекочущих лицо волос, шептал он в ответ.

Коснулся ладонью Таниного колена и ощутил под фильдекосовым чулком волнующее тепло ее тела.

Она рывком отвела его руку:

— Не надо, Коля. Я говорила — не вольничай. И, одернув юбку, доверчиво добавила:

— Меня родители строго воспитывали... Мама, та вовсе из кержаков.

— Откуда? — медленно приходя в себя, спросил Коробов.

— Из кержаков. Не слыхал, что ли? Ну те, кто старой веры держатся. Ничего-то ты не знаешь.

— Так бы и говорила — староверы, — уже почти спокойно сказал он, умиляясь ее трогательной серьезностью. — А целоваться им можно?

Она посмотрела на него долгим, показавшимся ему смешливым взглядом:

— Ну, если...

Из-за перегородки донесся скрежущий звук.

— Арон Моисеич кастрюлю выскребаёт, — прошептала Таня. — После работы поужинает, ночью опять... Да он не голодный, посылки ему присылают. А каждую ночь вот так...

Царапающий звук то смолкал, то возникал опять, и, словно потревоженный этим металлическим скрябанием, за печкой засвиристел сверчок.

— У тебя родители тоже были богатые? — тихонько спросила Таня.

— Нет, — сказал Коробов, — Мы бедно жили.

— За что же тогда вас?

— Отец в Белой армии воевал.

— А-а, — понимающе протянула Таня... — Хоть кто-нибудь из родни у тебя остался?

Коробов отрицательно мотнул головой, и она, обняв его, как-то по-матерински поцеловала в щеку.

Арон Моисеич перестал скоблить ложкой, и тишину нарушало лишь свиристенье сверчка.

— Коля! — негромко окликнула Таня.

— Что?

— Ты взаправду меня любишь?

— Взаправду, взаправду...

Мучительно счастливый, он опять принялся целовать ее согревшееся личико. И оттого, что близко за перегородкой какой-то Арон Моисеич, а они совсем-совсем рядом упоенно целуются, его восторженная любовь была еще истовей.

— Танья! — послышался голос из-за перегородки. — Кажется, дымом пахнет.

Коробов почувствовал запах паленой шерсти.

— Однако, валенки горят! — испуганно воскликнула Таня. Вскочила с лавки, выдернула все четыре валенка из печи на шесток, и, прикрыв рот ладошкой, приснула со смеху:

— Вроде не сгорели.

Поставила валенки на пол возле охапки припасенных к утру дров и села обратно к окну:

— Ну, говори что-нибудь.

И опять так заразительно приснула со смеху, что Коробов тоже засмеялся.

На склоне лет он уже не помнил, о чем они говорили, помнил лишь, как смеялись, но вспоминал об этом без улыбки, а с тихой грустью.

А у Еремеевых уже все спали — храпел в горнице на перине рядом с хозяйкой свояк Ивана Егоровича, похрапывал в передней комнате Иван Егорович, но когда, стараясь никого не разбудить, Коробов лег, тот, пробудившись, приподнял голову с приплюснутой подушки:

— Зазнобу себе нашел, чо ли? До каких пор шасташь. Завтра пораньше Гнедка с конюшни приведешь. Может, до Тимельги доедем, а?

— Хоть бы бурана не было, — ответил Коробов и, отвернувшись к стене, стал думать о своем.

— Не спишь, Николай? — окликнул его через какое-то время Иван Егорович.

— Нет, — отозвался Коробов.

— Прокуроришка этот... Минимум, минимум... Огороды обрезать, — переживая давешнее заседание исполкома, с обидой в голосе промолвил Иван Егорович. — Ну какой Панке Кузнецовой минимум? Двое ребятишек, в избе шаром покати, сама как щепка. Эттось Кондратыха дрова с ней в лесу пилила, так после бабам сказывала — посрать Панка отошла, а снег под ней уже не тает. Какой еще минимум?

Замолчав, Иван Егорович еще долго ворочался на тулупе, и Коробов тоже лежал с открытыми глазами.

А назавтра в кошеве, намотав на верхонки вожжи, сквозь дремоту вспоминал вчерашний вечер, рядом, свесив голову, спал Иван Егорович, постукивали мерзлые завертки оглобель, тянулись по сторонам унылые ливы, маячили впереди таежные увалы. А за увалами вновь распахивалась безмолвная равнина, и надвигались пустынные ливы, где словно снежные шапки на тальниках стыли недвижные белые куропатки. И снова заметенные буранами рямы, низкорослые сосенки, уводящий вдаль одинокий санный след... Где-то впереди была Светлянка и за тысячу километров от нее Томск, в котором Коробов будет жить, вспоминать эту дорогу, Васюган и все, все, что было с ним и с теми, кто был в его жизни.

Приехав в Светлянку, он отправил Тане письмо. Когда учился в гимназии, писал девочкам в альбомы ко Дню их Ангела пожелания счастья и любви, а на уголок альбомной странички наклеивал купленную в писчебумажной лавке лепную картинку. Исписанные детским почерком альбомы, лаковые ангелочки и голубки — всё это осталось в навсегда исчезнувшей жизни. Была ничем не похожая на нее другая, но Коробов, не столь давно живший в той прошлой, украсил свое письмо, нарисовав чернилами темно-лиловую ласточку с конвертом в клюве. Впрочем, ласточки гнездились там, где прошло его детство, весной сюда прилетали где-то зимовавшие другие пичужки, а на бескрайнее половодье возвращались с далекого юга тысячи утиных стай.

В том сорок седьмом году весна на Васюгане выдалась ранней. Уже в начале марта с обращенных на юг скатов избяных крыш пробила рябые дорожки капель, и, хотя ночами подтаивавший снег чарымел, день ото дня снежный покров оседал, на зимнике вытаивали конские шевяки и оброненное с возов сено, потные кони, сбиваясь с хода, тянули скатывавшиеся на обочину сани, но, сталкивая полозьями под откос зернистый снег и заламывая оглобли, сани снова и снова заносило с хребта дороги в бесчисленные раскаты. В побережных поселках по выступившей поверх льда наледи вывозили из-за реки последнее оставшееся на пойменных лугах сено, от поселка до поселка еще везли на перекладных мешки с почтой, но колокольцы на дугах почтовых лошадей не заливались, как зимой, веселым перезвоном, а лишь мелодично позвякивали.

По уже проступавшему под конскими копытами зимнику, возвращаясь с низовья в Новый Васюган, в Светлянку по пути заехал районный комендант Нестерович. Объявился он в районе недавно, его предшественника куда-то перевели, районных комендантов начальство на одном месте долго не держало. Наверное, чтобы не сживались с местным населением. Зато здешний участковый из-за обремененности большой семьей или по какой-то другой причине задержался надолго. Жил он за восемнадцать километров от Светлянки в Тевризе, где находились сельсовет и почта, было на его участке пять поселков, и в каждый он наведывался раз в месяц — проверял, все ли поднадзорные на месте. В Светлянке их было шестеро — помимо Коробова пять латышек. Все они именовались новым контингентом, хотя находились на спецпоселении без малого уже шесть лет. Через год буксир притянет на Васюган баржу с новыми спецпереселенцами, уже с Кавказа, но пока об этом никому ведомо не было. Держался участковый запросто, заходил ко всем в избы и, иногда подвыпив, рассказывал, что был кремлевским курсантом, видел самого Ленина, но почему оказался на забытом Богом Васюгане, не распространялся. А о Нестеровиче говорили, что он необщителен и недоверчив к людям. Районных начальников, которым порой доводилось заночевать в поселках, председатели колхозов определяли к какой-нибудь привычной к таким постояльцам старухе либо вели ночевать к себе, но Нестерович ни к кому не заходил и, если приходилось оставаться на ночлег, велел принести кипятку, подушку и спал в колхозной конторе.

В Светлянку он наведался впервые, однако Коробов его видел в райцентре, когда стоял рядом с Иваном Егоровичем, отчитывавшимся перед районным начальством на заседании исполкома. Сейчас Нестерович, скинув у порога черненый тулуп, прошел к столу, на котором Коробов разложил ведомости начисленных бригадиром трудодней, и опустился рядом на лавку. Иван Егорович привычно сидел в сторонке, стол ему не был нужен. Сняв ушанку с пятиконечной звездочкой, Нестерович обнажил голову с зачесанными на просвечивающую лысину редкими волосами, расстегнул защитного цвета новенький ватник, всё так же молча достал из планшета початую пачку «Беломора» и, закурив, наконец спросил:

— К посевной подготовились?

— Снег сойдет, будем пахать, — искоса глянув на комендантский планшет, ответил Иван Егорович и с расстановкой добавил:

— Должно, к маю начнем... Весна нынче ранняя.

— Так, так, — неопределенно протянул Нестерович и, оглядев помещение, остановил взгляд на стоявшем на конторском шкафу патефоне:

— Исправный?

Патефон колхоз приобрел еще до войны. С тех пор уцелело семь пластинок и с десятком патефонных иголок, которые затачивали обломком точильного бруска.

— Исправный, — подтвердил Иван Егорович.

— Ну, веселитесь, веселитесь, — не то советно, не то с ехидцей сказал Нестерович.

Прошелся по конторе, постоял перед прилепленным между окон плакатом, на котором была изображена полногрудая колхозница со снопом пшеницы, глянул в окно на привязанного к коновязи коня и опять сел к столу. Вынул из планшета узенький листок бумаги и затяжным взглядом посмотрел на Коробова. Запавшие в орбиты глаза были изучающе насмешливы:

— Писал в Москву заявление об освобождении?

По тому, как Нестерович смотрел на него, Коробов всё понял.

— Писал.

Нестерович подвинул к нему повернутую вниз лицевой стороной бумажку.

— В заявлении отказано. Распишись.

— Почему? — голос у Коробова дрогнул.

— Давай расписывайся, — повторил Нестерович, придерживая листок указательным пальцем. — Вот тут.

Обмакнув в чернильницу перо, Коробов расписался. Чего спрашивать?

Нестерович сунул бумажку в планшет и, докурив папиросу, бросил окурок на прибитый к полу перед печной дверцей лист жести.

— Может, обедать пойдем? — спросил Иван Егорович.

— Нет, — отказался Нестерович и уже в тулупе обернулся у порога:

— Развилок по дороге не будет?

— На выезде сверток к конному двору, так вы прямо поезжайте, — пояснил Иван Егорович. — Дальше одна дорога. Оставшись вдвоем с Коробовым, сказал с усмешкой:

— Глаза у его какие-то долбленые. — И, помолчав, спросил: — Ваших-то на сколь лет сюды привезли?

— На двадцать, — сумрачно ответил Коробов.

— Тогда, парень, не рыпайся. Живи тут. Женишься, семьей обзаведешься... Вон Кланька кака деваха али Тонька Калинина... Чего закручинился? А?

Накануне Первоя под светлянским яром тронулся лед и, недалеко сдвинувшись, сгрудился под обрывом у омота. Но ночью, переполняясь талой водой, Васюган взломал затор и уже безостановочно понес изломанный ледяной покров к далекому устью. А ко Дню Победы полая река затопила пойменное левобережье, зеленой дымкой окунулись в вешней воде тальники и черемухи, потянулась вершинами елей и пихт к весеннему небу тайга, зазеленели березы, и лишь молчаливые осины ждали своего срока, когда на их ветках проклюнутся первые пугливые листочки. Прибывали дни, просыхали поля, и только в оврагах еще лежали налитанные водой сугробы.

Но Коробов больше любил осеннюю пору, когда всё вокруг после скоротечного сибирского лета готовится к долгой зиме — редееет листва, смолк гул молотяги на гумне, утрами трава под ногами серебрится от инея, а откуда-то с клюквенных рямов прилетают на жнивье краснобровые косачи и тетерки. Весна будоражила, куда-то звала, усталая, ласковая осень приносила душе покой.

Теперь на старости лет он с одинаковой нежной грустью вспоминал и те осени, и те весны — ибо всё это была его молодость.

Ответное письмо от Тани он получил, когда на лесных прогалинах оттоковали тетерева, проплыли по Васюгану к далекой запани плоты с леспромхозовских плотбищ, а на затопленном паводком берегу напротив светлянского яра всюду набирала цвет черемуха. И, спрямляя путь по речным протокам, везли почтовые катера в побережные поселки скопившуюся за время распутицы васюганскую почту. Как счастлив был Коробов, что есть теперь у него кто-то, от кого он может ждать писем, и, казалось, вошедшее в его жизнь дотоле неизведанное, радостное, отныне будет всегда. Вместе с письмом в самодельном конверте была маленькая Танина фотокарточка, на обороте которой крупным девичьим почерком Таня наискосок вывела: «Люблю сердечно, дарю навечно». Слово «люблю» подчеркнула красными чернилами.

Не вечна первая любовь, и выцветают чернила, которыми девчонки тех послевоенных лет писали заветные слова... Ту фотографию Коробов долго хранил в томике стихов Лермонтова, но в Томске эта книжка с вложенной между страниц фотокарточкой потерялась. И как не мог он впоследствии представить Таню, так и, когда пытался вспомнить ее единственную фотокарточку, в памяти всплывали другие фотографии, чьи-то другие запечатленные на снимках женские лица.

Паводок в том году задержался надолго, лишь в середине июня обнажилось левобережье, и на топких лягах торопливо потянулась в рост трава. Но еще не закончили колхозники сенокос, как уже надвинулось время жатвы. В начале августа в Светлянку пришло предписание — счетоводу колхоза срочно прибыть в райземотдел с перспективным планом на предстоящие годы пятилетки. Пароход с Оби ожидали здесь только через трое суток, но в тот день, когда нарочный доставил из сельсовета ту бумагу, к светлянскому берегу по пути в Новый Васюган подчалил леспромхозовский катер, и Иван Егорович попросил капитана взять с собой Коробова. Пусть счетовод быстрее управится там со своими делами и, вернувшись, возьмется страдовать с мужиками и бабами. Работы в поле и на току всем будет невпроворот.

Чтобы поехать в райцентр, Коробову требовалась справка от коменданта, которую он полагал попутно взять в участковой комендатуре, но когда катер причалил в Тевризе, оказалось, что участковый на весь день отлучился, и пришлось ехать без разрешения. В Новом Васюгане надеялся пробыть до прибытия парохода дня два-три и каждый вечер видаться с Таней, но катер подолгу стоял у попутных поселков, сходявшие на берег капитан и моторист, возвращаясь навеселе, не спешили заводить дизель, и Коробов уже стал думать, что пароход их обгонит, но все же прибыли они в Новый Васюган раньше, чем плывший где-то позади по бесчисленным васюганским плесам «Тоболяк».

За проезд взяли с Коробова сто рублей, после чего денег у него осталось лишь на то, чтобы уехать обратно на пароходе да две десятки на пропитание. Причалил катер в восьмом часу вечера, и Коробов со своим фанерным чемоданом подался на окраину к Еремеевым. Свояк Ивана Егоровича еще был на работе, не очень-то привечавшая постояльцев Евдокия Егоровна встретила Коробова привычным:

— Че же, места не жалко.

И велела разуться у порога:

— Не натопчи, только сейчас пол помыла.

За чаем, которым все-таки напоила, обронила как бы между прочим:

— Девка-то, Татьяна эта, которая у Пестовых квартировала, боле у них не живет. Райсоюзовское начальство жилье ей выделило.

— А где она теперь? — спросил Коробов.

Егоровна пожала плечами.

— Откель я знаю?

И, уже убирая со стола посуду, промолвила:

— Сказывала Пестиха, как ты с ее квартиранткой миловался. Не ровня ты ей... Она вольная, а ты кто? Не морочь голову.

На следующий день с реки донесся басистый гудок сообщившего о своем прибытии парохода. Дальше в верховье «Тоболяк» не ходил,

а, спустя сутки, отправлялся в обратный рейс. Следовательно, завтра Коробову нужно было уезжать. Целый день он пробыл в райзо, где земотдельцы дотошно сверяли и уточняли цифры привезенного им плана, несколько таблиц заставили переделать, и лишь к вечеру, избавившись от всего проверенного и уточненного, он, наконец, смог пойти к райпотребсоюзу, где работала Таня. Рабочий день окончился, но он надеялся там поблизости у кого-нибудь узнать, где она живет. Дошел до райпотребсоюзской конторы и, прислонившись к городьбе примыкавшего к ней огорода, стал ждать.

Подергивая вожжами каурую лошаденку, проехал на увязавшей колесами в песчаной улице телеге не ведавший о Тани бородачатый старик, не знали ее и прошедшие мимо две пожилые женщины, спросил босоногого парнишку, гнавшего куда-то теленка, но тот, бросив прутик, досадливо отмахнулся и побежал за пытавшейся свернуть куда не следовало скотиной. За конторой серели тесовые крыши еще нескольких домов, на противоположной стороне виднелось построенное во время войны бревенчатое здание промкомбината, за которым, минуя неогороженное кладбище, безлюдная улица переходила в проселочную дорогу. В безветренном воздухе мельтешила мошкара, в чьем-то дворике кудахтали курица, на короткое время умолкала и снова принималась исходить надсадным криком.

Подобрав с обочины брошенный парнишкой прутик, Коробов пригладил перед собой подошвой кирзового сапога песок и, как в предвоенном сороковом году на песчаной кромке побережья Балтийского моря однажды чертил имя нарвской гимназистки, теперь на уличном песке сибирского поселка вывел имя той, которую полюбил невероятно далеко от того моря и всего того, что тогда было. Отворилась дверь конторы, он поднял глаза и увидел вышедшую на конторское крыльцо Таню. Увидел ее впервые не в ватнике, а в летнем платье с короткими рукавами, всю освещенную вечерним солнцем.

— Таня! — окликнул он ее.

Она сбежала со ступенек оторопевшая, будто испуганная, и в шаге от него остановилась:

— Ты откуда тут?

— Да вот приехал... Тебя ищу.

Ждал, что она подойдет ближе, но она продолжала стоять, и на лице ее была та же растерянность.

— Завтра я уеду, — сказал он упавшим голосом.

Она не переспросила, как предыдущий раз: «Уже завтра?», но подошла и взяла его за руку:

— Коля...

Он стиснул ее маленькую ладонь. Крепко, крепко, как тогда, когда она учила его танцевать.

— Я хотел тебя еще вчера увидеть, но Егоровна сказала, что ты у Пестовых больше не живешь.

— Коля, Коля, — повторила она с грустинкой в голосе. — Мне комнату дали... Вместе с Нинкой Ефимцевой. Да ты, поди, ее не знаешь?

— Кого?

— Нинку.

Улица была по-прежнему пустынной, курица умолкла, тишину нарушал лишь доносящийся с реки стук катера, и непонятно было, приближается он или удаляется.

Таня осторожно высвободила руку:

— Не будем тут стоять.

— Может, в кино пойдём? — предложил Коробов.

— Нет, нет, — поспешно возразила она. — Погуляем в роще за больницей... Тут от конторы тропинка в ту сторону... По улице не надо.

— Почему? — спросил Коробов.

— Ну пошли же, пошли, — просяще сказала она.

Что-то незнакомое было в ее глазах, и от смутного опасения, что кто-то может разлучить его с Таней, Коробов сильнее почувствовал свою привязанность к ней. Идти рядом по узкой тропинке было невозможно, он приотстал; и бесконечно милыми казались ему ее

рябенюкое платье, узелочек тесемки дешевеньких бус сзади на шее, парусиновые туфельки...

Вдоль городьбы прошли к ютившимся на отшибе домишкам, свернули влево и задами огородов вышли к островку сосняка в центре поселка. Приостановились, и Таня легонечко вздохнула:

— Если бы я сегодня на работе не задержалась, ведь ты бы и не нашел меня. Ага?

— Я уже в кино собрался, — сказал Коробов. — Подумал, может, ты там.

— Зря бы и ходил. А мне домой было неохота. Ухажёр там Нинкин. Каждый вечер допоздна.

— У тебя, наверно, тоже... — Коробов запнулся. — Кавалер.

Таня пожала плечами:

— Да ну, никого у меня тут нет... Ну, правда же, Коля, правда.

В затенье под деревьями вились комары, пахло хвоей, и казалось, даже с ближних огородов наносит запахом смолистого леса. В стороне от тропинки, уткнувшись оглоблями в землю, стояла телега, передние колеса с нее были сняты и под ось подставлены два чурбачка. Таня взобралась на телегу и по-детски стала покачивать не достававшими до земли ногами:

— А ты, Коля, однако, ревнивый.

Присев рядом на край телеги, Коробов коротко взглянул на ее обнажившиеся коленки.

— А почему ты не хотела идти со мной по улице?

Она перехватила его взгляд и натянула на колени подол платица.

— Совсе не потому, о чем ты думаешь.

Перестала болтать ногами и потупилась, собираясь с духом.

— Меня, Коля, на комсомольском собрании разбирали. Если не прекращу с тобой связь, исключат из комсомола... Лидка, знакомая моя, в райкоме инструктором работает, сказала — там наши письма прочитали.

— Как же они могли? — сдавленно спросил Коробов.

— Не знаю, — В Танином голосе послышались слезы. — Только ты мне больше не пиши.

— Хорошо, — произнес он чуть слышно.

«Она вольная, а ты кто?» — напомнила вчера Егоровна. Он старался не думать об отделяющей его от Тани жестокой грани, но от того, что безжалостную правду сейчас услышал от той, с кем, ему казалось, он уже не одинок в мире, стало особенно больно.

Солнце клонилось к закату, и тени высоких сосен, в просветах между которыми светлели строения районной больницы, тянулись к телеге, на которой сидели двое.

Пристально посмотрев на Коробова, Таня подтолкнула его локтем:

— Слышь, а я тебе варежки начала вязать. Одну связала, а на другую шерсти не хватило.

Он порывисто обнял ее, и она впервые улыбнулась:

— Все думаю — чего же он меня не обнимет. Прижавшись к ее губам, Коробов задохнулся в бесконечно долгом поцелуе.

— Ну вот, — высвободившись, вымолвила Таня и уже счастливыми глазами посмотрела на него.

Он опять поцеловал ее, но не исступленно, а бережно.

— Придешь меня завтра провожать?

— Приду. Только теперь нам таиться надо.

Она погрустнела, смена настроения у нее происходила быстро.

— Я заявление писал, чтобы меня сняли с учета комендатуры, — сказал Коробов, будто был в чем-то виноват перед ней.

— Районный комендант приезжал в Светлянку, объявил, что отказано. Но я буду еще писать...

— Комендант? — Таня чуть усмехнулась. — Видела его, пузатенький такой, глаза как буравчики... Лидка, ну та, из райкома комсомола, говорила, что он к их секретарю насчет невесты приходил.

— Кому невесты? — спросил Коробов.

— Себе. Он же не здешний, где-то в Германии долго служил, а жена его, будто без него... Ну, другого нашла. Развелся и сюда приехал. Просил, чтобы невесту порекомендовали. Ему Лидку и присоветовали. Еще Катерину из райфо. Смех один, ему за сорок, а им по двадцать. Нашто он им... Хоть и начальник... Ой! — Таня хлопнула себя по запястью и стерла размазанное с убитым комаром пятнышко крови. — Паразит, уже напиться успел.

Удлинившиеся тени дотянулись до телеги, запахи леса стали прохладней, и со стороны ближнего огорода потянуло дымком — где-то затопили печку или разожгли дымокур. Было тихо-тихо, и лишь временами неподалеку принимался дробно долбить дятел. От всего безмятежного и умиротворяющего, от того, что рядом была Таня, Коробову стало хорошо и легко. Словно никто не запрещал любить, не надо кого-то бояться, и он не закрепощенный спецпереселенец из нового контингента, а такой же вольный, как она.

И опять они ненасытно целовались, опять, как зимой, он пересказывал ей один из виденных до войны кинофильмов — сказку про унесенную смерчем в далекую страну девочку Дороти, которой помогали вернуться домой Страшила, Лев и Дровосек. Может, потому что это был первый увиденный им цветной кинофильм, он запечатлелся в памяти на всю жизнь. Но когда много лет спустя однажды увидел его по телевидению, у него не возникло чувства приобщения к чему-то сказочному, которое было в теперь уже давно несуществующем кинотеатре в стертом с земли войной городе. Многие на исходе жизни воспринимаются иначе.

А когда он рассказывал Тане о Дороти и ее друзьях, в нем еще было свежо обаяние той экранизированной сказки, быть может, связанное с неосуществимой мечтой вернуться в страну детства.

Сегодня он уже не смог бы пересказать давно виденные фильмы — что-то бывшее и в его собственной жизни навсегда забылось, что-то помнилось смутно. Но память сохранила тот августовский вечер — закатное небо, запах хвои, телегу с чурбачками вместо колес.... И Танино рябенькое платье, ее парусиновые туфельки, и

прикосновение щекочущих его щеку волос приклонившейся девичьей головки...

Помнил, как, накинув Тане на плечи свой пиджак, провожал ее до дому, как в прозрачных сумерках оевало их то наползавшей с близких болот прохладой, то еще оставшимся теплом угасшего дня. Помнил барак из кромленных бревен, где она жила, ее глядевшее на улицу задернутое занавеской окно, помнил крыльцо под тесовым навесом, у которого они прощались. Помнил, как не хотелось расставаться, как хотел, чтобы этот вечер длился долго, долго...

Назавтра он пришел на берег задолго до того, как «Тоболяк» должен был отчалить, поставил свой фанерный чемодан на исколесенный телегами песок и стал ждать, когда объявят посадку. Из паровой трубы курился тощий дымок, от заменявшего дебаркадер паузка пахло нагретой на солнце смолой, с высокой кручи, на которой неподалеку отсюда в военном сорок втором спешно были построены коптильный и сушильный цеха рыбзавода, наносило вялившейся рыбой и падала в глубь реки отвесная тень. Издалека бубнил возвращавшийся с верховья почтовый катер, наконец он показался на излучине, не сбавляя скорости проскочил мимо занятого паровозом причала и, лихо развернувшись, приткнулся к берегу около срубленного у самой воды райсоюзского склада. Набежавшая волна колыхнула возле Коробова чью-то наполовину вытащенную на приплесок лодку, за первой волной накатилась вторая, еще несколько уже стихавших лизнули сырой песок, река успокоилась, и только ближе к фарватеру, где в водной ряби дробилось высокое солнце, заметно было ее безостановочное течение.

— Давно меня ждешь? — тихонько спросила неслышно подошедшая Таня.

Вздрыгнув, Коробов увидел ее почти рядом с собой:

— Давно... — он запнулся. — Всю жизнь.

Таня ласково посмотрела на него:

— Ну, прямо.

Ему невыносимо хотелось ее обнять, но на виду у всех он даже не смел взять ее руку.

— А я ведь на базу отпросилась, — шепотом сказала Таня. — Только все равно узнают.

Народа на берегу набиралось все больше. Кто пришел кого-то проводить, кто просто посмотреть на отплытие парохода. Низко над рекой пронеслась пара уток и, почти задев поверхность воды, взмыла в сторону пологого противоположного берега, окаймленного вдали зубчатой кромкой тайги.

— Опять буду без тебя скучать, — промолвил он, глядя на почти слившиеся в небесной голубизне две уменьшающиеся черточки. Сколько лет доставало ему чьей-то нежности, и сколько нежности было сейчас в нем самом!

Таня тряхнула головой, отгоняя какие-то мысли:

— Поменьше обо мне думай.

— Так ведь...

— Тихо, ты, — испуганно шепнула она.

Коробов оглянулся. В перехлестнутой портупеей гимнастерке и плоской энкавэдэшной фуражке с коротким козырьком за ними стоял Нестерович.

— Ты почему здесь? — сухо спросил он мучительно ощутившего свою униженность Коробова.

— В райзо приезжал. Теперь вот обратно...

Нестерович оценивающе глянул на Таню и перевел взгляд на Коробова:

— Справка от участкового коменданта есть?

— Его не было на месте, — дрогнувшим голосом сказал Коробов. — А мне надо было представить в райзо перспективный план. Меня колхоз...

— Что меня колхоз? — оборвал Нестерович и пнул носком сапога чемодан:

— Твой?

— Мой, — кивнул Коробов.

— Забирай и айда со мной в комендатуру.

Жалко улыбнувшись беспомощно глядевшей на него Тане, Коробов взял чемодан и, ссутулившись, пошел к взвозу. Поскрипывая сапогами, Нестерович шел за ним. Поднявшись в гору, Коробов оглянулся.

— Давай, давай! — отрывисто приказал Нестерович.

Районная комендатура — бревенчатый дом с крутыми ступеньками высокого крыльца — находилась на отшибе неподалеку от пристани. В кабинете, куда Нестерович привел Коробова, пахло застоявшимся табачным дымом, в падавшем из окна солнечном свете роились мелкие пылинки, из портретной рамки над двухтумбовым столом смотрел куда-то в сторону Дзержинский с остроконечной бородкой.

Не снимая фуражки, Нестерович прошел на свое место под портретом и, сев за стол, уставился на Коробова.

— Поясни, как ты прибыл без справки?

— Я вам объяснил, — сказал Коробов. — Участкового не было на месте, а мне надо было срочно в райзо.

Нестерович достал из кармана пачку «Беломора», вынул папиросу и, помяв ее пальцами, неспешно закурил:

— Тебе известно, что ты ограничен в правах передвижения?

— Известно, — тоскливо сказал Коробов. — Но надо было срочно...

Из-под берега донесся протяжный гудок и сразу за ним другой, короткий. Коробов посмотрел в окно. Реки отсюда не было видно, окно выходило на противоположную сторону в палисадник. Там в полуденной жаре млели две березки и тощий куст бузины с гроздьями мелких ягод. Рассказывали, что в начале тридцатых годов в этом палисаднике был похоронен районный комендант, которого застрелила любовница из его же нагана. В тридцать седьмом пирамидку со звездочкой убрали, а могильный холмик сровняли с землей. Вроде бы тот комендант оказался врагом народа.

Папиросный дым, медленно расходясь, мешался с роившимися пылинками. Колючие глаза Нестеровича были холодно-насмешливы:

— Так почему ты без справки?

Коробов не ответил.

— Придется тебя посадить.

Выдвинув ящик стола, Нестерович достал какую-то бумагу и углубился в чтение.

По окну карабкался залетевший с улицы паут. Добрался до крестовины рамы, сорвался и долго шевелил на подоконнике короткими лапками. Перевернулся и снова упрямо пополз наверх по отделявшему его от воли стеклу. Под берегом вторично оповестил о себе пароход — один длинный гудок и два коротких.

«Скоро уберут трап», — обреченно подумал Коробов. Он продолжал стоять, сжимая потной ладонью ручку чемодана. Чемодан был почти пустой — буханка хлеба, смена белья и книга, которую он сегодня по пути на пристань купил в здешней лавке — «Сказки Андерсена». В детстве Коробов любил эти сказки.

Паут опять, сорвавшись со стекла, лежал на подоконнике. Нестерович докурил папиросу и, продолжая читать, не глядя, ткнул окурком в аляповатую мраморную пепельницу. Прощаясь с остающимися на берегу, «Тоболяк» прогудел последний раз — за длинным утробным ревом три торопливых, догоняющих друг друга вскрика. Нестерович поднял голову:

— Мотай отседова!

Когда Коробов, запыхавшись, забежал по сходням на баржу, из пароходной трубы густо валил тянущийся над рекой дым, в машинном отделении что-то тяжело ворочалось, трап был убран и «Тоболяк» медленно отваливал от баржи. Кинув на пароход чемодан, Коробов прыгнул вслед за ним через увеличивающийся темный провал и больно ударился коленом о чугунный кнехт. Шлепая лопастями колес, «Тоболяк» выходил на середину реки. Коробов посмотрел на берег, не увидел там Тани и с саднящей тоской почувствовал свою одинокость.

Вернулся он в Светлянку, когда уже шла уборочная страда. Хлеба в том году поспели рано, погода не в пример прошлогодней долго стояла ведренной, легче было и людям, и коням. Спозаранку

стрекотали на полях жатки, бежали за ними женщины, приклонясь к земле, торопливо связывали снопы и, откинув их на жнивье, бежали к следующему валку. Скорей, скорей, чтобы освободить прогон, чтобы не задышали в спину потные кони... Доспело зерно в суслонах и повезли снопы на ток к довоенной молотяге-полусложке. Хрипло кричал коногон на вращающих чугунное колесо привода лошадей, стегал длинным бичом ослабляющих построжки, вываливал золотистую солому соломотряс, и безостановочно сыпалось на земляную ладонь гумна зерно.

Трудились истово, по-крестьянски, но лишь малая часть урожая доставалась колхозу — почти весь хлеб бесплатно отдавали в госпоставки. Работали днем, прихватывали ночи. Когда темнело, зажигали керосиновые фонари, и, заглатывая разворошенные снопы, также ухала молотилка, также, нагоняя лопастями ветер, сдували с решет мякину веялки, а в пробивающемся сквозь половную пыль жидком свете метались на ометах соломы людские и конские тени.

Лишь поздней ночью выпрягали лошадей и, стреноженных, отпускали попасться поблизости от полевого стана, где вповалку на нарах забывались в коротком сне наработавшиеся бабы и мужики. И Коробов, днями скирдовавший солому, тоже ночевал на полевом стане. Той осенью он впервые познал женщину. Как-то ночью пробудился от жаркого шепота привалившейся к нему под бок тридцатилетней Паруньки. Обняв его, она шептала ему что-то, и он, пьянея от ее близкого дыхания, влекущего тела, тесней прижал к себе эту истосковавшуюся по любви, не дождавшуюся с войны мужа молодуху и нашел в темноте ее горячие заветренные губы.

— Пойдем, — шепнула она, вывернувшись.

Поднялась с нар и вышла в осеннюю ночь, не притворив дверь. Он вышел за ней, и она, схватив его, повалилась с ним в копну соломы...

Днем, разрезая коротким серпом вязки снопов на помосте у барабана молотилки, исподволь бросала на него лукавые, что-то вопрошающие взгляды, но он, стыдясь, отводил глаза, и ночью лег на другом краю нар.

К концу сентября увезли зерно, умолкла молотяга, отмахали лопастями веялки, и там, где недавно былолюдно и шумно, по утоптанной ладони гумна, разнося невыветрившиеся запахи зерна и прелой мякины, гулял бесприютный ветер, да на соломенной крыше тока пронзительно кричали прилетавшие из тайги прятать в солому кедровые орешки запасливые ронжи. А где-то в верховье над бескрайними болотами уже зарядили дожди, полнился водой, затопляя перекаты и песчаные косы, Васюган. На кормовых озерах, готовясь к отлету, сбивались в стаи утки, пустела и холодала река, уходила, роняя листву побережных тальников и черемух, уже шестая для Коробова васюганская осень.

Почему-то в преддверии зимы он стал пуще тосковать о Тане. Как-то, насмелившись, сказал Ивану Егоровичу, что надо бы до распутицы съездить в Новый Васюган выверить взаиморасчеты с леспромхозом. Тот, зорко посмотрев на него, усмехнулся:

— Коли надо, езжай.

Запасшись справкой от участкового коменданта, на этот раз Коробов поехал на пароходе. Навигация кончалась, простояв сутки у причала райцентра, «Тоболяк» последним рейсом уходил на зиму в затон, и опять, чтобы повидаться с Таней, у Коробова оставался только один вечер.

С выверкой взаиморасчетов в бухгалтерии леспромхоза он управился до обеда. Едва дождавшись конца рабочего дня, пошел на береговую улицу к уже знакомому бараку и, еще не доходя до него, повстречал возвращавшуюся с работы Таню. В однотонном сереньком платье, узких полусапожках, делавших ее выше ростом, она, задумавшись, шла ему навстречу, и по понурой походке, выражению ее лица, когда она тоже увидела его, понял, что с ней неладно. Но сейчас в ее глазах была не та испуганная растерянность, какую он видел прошлый раз, а странная отрешенность от окружающего. Она вроде даже не удивилась, что он здесь, а как-то устало сказала:

— Ну вот, знаешь, где я живу.

Не найдясь, что ответить, он глупо улыбнулся.

— Что же, пойдем ко мне, — также устало сказала она. — Нинка замуж вышла, я теперь одна.

В комнате, где она жила, было по-женски опрятно — половичок у входа, на подоконнике горшочки с геранью, у застланной пикейным одеялом кровати висел настенный коврик с нарисованными масляными красками красноклювыми лебедями. После сумеречного барачного коридора с застоявшимся запахом сырости здесь было светло и уютно.

Войдя в комнату, Таня закрыла за Коробовым дверь на крючок, и вдруг, уткнувшись ему в грудь, разрыдалась.

— Ну что ты? Что? — растерянно спрашивал он, глядя ее, как ребенка, по голове.

— Меня, Коля, наверное, судить бу-удут. — Слезы мешали ее говорить. — Весной, когда с базы товар отгружали, заведующая в фактуре на дюралевые чугуны цену за-занизи-ла. — Таня стала сильнее всхлипывать. — Я не про-верила и тоже фактуру подписала. Товар продан, а нам теперь почти по че-четыре тысячи платить... Если не уп-уплатим...

— Может, спишут? — пытаюсь ее утешить, неуверенно сказал Коробов.

Таня замотала головой:

— Не спишут, Коля, ни за что не спишут.

Затихла, а он, обняв ее, продолжал гладить ее слабо пахнущие репейником волосы.

— Пусти, Коля, — сказала она, по-детски шмыгнув носом.

— Пусти, я что-нибудь сготовлю. Ты, поди, и не ел сегодня... Хочешь — драников изжарю? Пусти, ну пусти же, — повторила она почему-то шепотом, словно кто-то их мог услышать. Он разжал объятия, она бочком села на табуретку у печки, стянула с ног тесные полусапожки и, мягко ступая в чулках, прошла в глубь комнаты:

— Не смотри на меня, я переоденусь.

Он надолго зажмурился и, казалось, слышит, как она стягивает через голову платье, как шуршит материя...

— Ну все, теперь можно.

Он открыл глаза — переодетая в уже знакомое ему платьишко, Таня расчесывала перед зеркалом волосы.

— Я начищу картошки, а ты пока печку затопи, — сказала она, обернувшись. — Ага?

Наверное, выплакавшись, ей стало легче, в ее голосе и глазах уже не было того усталого безразличия, какое Коробов видел вначале.

Потом они вдвоем ели горячие драники, пили пахший черносливом фруктовый чай, и Таня рассказывала, что муж у Нинки контуженый, а потому иногда на него что-то находит — из ревности изорвал Нинкино платье и потом на коленях просил прощения. А платьев у Нинки всего три, то было самое лучшее. Теперь они живут у свекрови, у той свой дом, а здесь все казенное — и стол, и тумбочки, и кровать, и вон тот диван.

Коробову было неважно, где и как живет Нинка, он понимал, что рассказывает о ней Таня, чтобы не думать о своей беде.

— Ешь, Коля, ешь, — приговаривала она и опять принималась говорить о Нинке и ее муже.

Убрав со стола, села рядом с Коробовым на, вероятно, прежде стоявший в какой-то конторе обитый дерматином диван с высокой спинкой, и, прислонившись к плечу Коробова, вернулась к прежним мыслям:

— Сегодня судом стращали... Родителям не хочу писать, помочь не могут, зачем расстраивать?

Сгущались сумерки, пахло растительным маслом, на котором жарились драники, где-то в бараке завели патефон, и приглушенное смежными стенами донеслось тоскующее:

*В том саду, где мы с вами встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвел...*

— Хорошо, Коля, что ты приехал. — Таня вздохнула. Мне сегодня так худо было.

Он притянул ее к себе и, ощутив пальцами сквозь тонкое платье пуговицы ее лифчика, начал страстно целовать ее запрокинувшееся лицо, полуоткрытый рот, шею... На мгновение вспомнились заветренные Парунькины губы, ее горячие шершавые ладони и, уже не владея собой, нашарил под подолом Таниного платья подвязку у прохладного бедра и стал торопливо ее отстегивать.

Таня ухватилась за его руку:

— Не тронь меня, Коля, не надо... Я ни с кем... Не надо, миленький, ну не надо же...

Порывисто дыша, он отпустил ее, и она заплакала, прижавшись к нему горячей, мокрой от слез щекой.

— Я тебя люблю, Коля... Миленький, правда, люблю. И ты меня любишь. Но мы же не можем с тобой пожениться.

— Конечно, — страдальчески сказал Коробов. — Конечно, не можем.

Поднялся с дивана и прошел к окну. Поверх задернутой занавески в сыром полумраке чернела за оконным стеклом свесившаяся ветка березы, на противоположной стороне улицы светило чье-то окно, и было видно, как молодая женщина там гладит на столе белье.

— Иди сюда, Коля, — позвала Таня, — Только не мучай меня.

Не включая электричества, они долго сидели, тесно прижавшись друг к другу. Светлело окно с темными контурами гераней перед занавесочкой, подрагивал на побеленной стене отсвет догоравших в печке углей, настенное зеркало отражало эти колеблющиеся блики, и, казалось, за зеркалом такая же комната, и так же угасают в печке багровые угли, от которых наплывает размаривающее тепло. В сладкой истоме целовались до боли в губах, и все угнетавшее их обоих на время отошло, чтобы напомнить о себе уже потом. А в бараке кто-то заводил и заводил патефон, снова и снова вращалась пластинка, вызывая из небытия кручинящийся голос:

Отцвели уж давно хризантемы в саду...

И когда на склоне лет Коробову доводилось услышать этот романс, в его душе пробуждалось ощущение чего-то одновременно счастливого и печального.

Ушел он от Тани уже за полночь. Проводить его она вышла на улицу и, зябко поеживаясь от промозглой ночной прохлады, вдруг спохватилась:

— Ой, совсем забыла.

Сбегала в барак и, вернувшись, протянула ему варежки.

— Вот, довязала. Мягонькие... Будешь надевать — вспоминай.

И посмотрела так, будто знала, что навсегда с ним прощается.

Приехал Коробов в Новый Васюган уже зимой. Так же, как в прошлом году, мела по дороге пурга, так же тяжело по бродному зимнику тянул кошеву потный Гнедко, и, облегчая воз, Коробов и Иван Егорович на подъемах с реки шли за кошевой пешком. Коню в дорогу взяли куль овса, себе хлеба из дому брать было не надо — уже два месяца его свободно продавали во всех лавках.

До райцентра добрались вечером и, как обычно, остановились на постой у Еремеевых. Когда отужинали, Егоровна, убирая со стола, вроде ненароком спросила Коробова:

— А ты, Николай, знаш, что Татьяна твоя за коменданта взамуж вышла?

— Нет, — ответил Коробов, побледнев.

— С осени, по голу еще... Че-то у ней по работе случилось, насчитали на нее много. А он то ли уплатил за нее, то ли с начальством договорился. Все в ихних руках... Ей-то деваться некуда было. — Вытирая влажной тряпицей клеенку, Егоровна не то осуждающе, не то сокрушенно вздохнула. — Нешто они пара? Никогда рядом не ходят — он по одну сторону улицы, она по другую... Соседка ихняя поначалу сказывала — он домой, а она на городьбу у калитки сядет и ногами болтает, болтает... Господи, девчонка совсем, он же ей в отцы годится.

Коробов тупо смотрел на облезлую клеенку. Еще оборвалось в его жизни что-то, к чему не было возврата. Летом Нестерович уехал с молодой женой в Колпашево.

Когда Коробов впервые был здесь проездом, той, кого он искал, не было сорока, когда приезжал вторично, перевалило за пятьдесят, теперь, как и ему, ей минуло семьдесят. Сейчас он искал ее среди старух. Пошел по расстроившемуся на горе за пристанью рынку, всматриваясь в них, одетых в Бог весть когда приобретенные пальто и плащи, к чему-то приценивающимся, пересчитывающих на ладонях вынутую из кошельков мелочь, что-то забывших, потерявших, что-то страдальчески вспоминающих... Смотрел на них, когда-то бывших в расцвете сил, теперь согнувшихся под тяжестью лет и болезней; смотрел, и все сильнее ощущал собственную старость.

Шел, еще надеясь, но и боясь увидеть ту, кого он когда-то знал и любил. Боялся — увидит — и рухнет то, что столько лет жило в его памяти. Страшился этого, но всё равно хотел ее встретить. Пересек уже знакомую ему улицу, застроенную новыми домами, рядом с которыми еще незаметнее стали старые, и отправился вглубь города. Но чем дальше уходил от пристани, тем больше было вокруг сохранившегося прежнего — дощатых тротуаров, деревянных домов с резными карнизами и наличниками на окнах, нахилившихся, украшенных уже осыпающейся резьбой ворот. Ненадолго прояснившееся небо заволкло плотными облаками, воздух пронизывала невидимая морось, и от перемены погоды сильнее покалывало сердце. Чем дальше Коробов уходил от реки, тем безлюдней были улицы, тщетней пугливая надежда. Намерившись вернуться на пристань, свернул в ближний переулок, и вдруг почудилось, что когда-то он уже бывал здесь, ходил по этому просевшему тротуару, отворял чью-то калитку, поднимался по скрипучим ступеням крыльца к чьей-то двери... Знал — этого не могло быть, может, видел во сне, но, казалось, это было тут, наяву, и где-то здесь та, кого он ищет. Оглянулся и медленно побрел обратно мимо тех же домов, сарайчиков, стаяк, мимо окрашенных одинаковой зеленой краской заборов.

Возле бревенчатого пятистенника его обогнал колесный трактор с груженной сеном прицепной тележкой; на ухабе тележку тряхнуло,

и слабо придавленный бастриком пласт сена упал на дорогу. Коробов поднял с залосненной шиной земли клок этого высохшего где-то на заречной пойме разнотравья и словно пахнуло на него далеким-далеким деревенским. Вспомнил, как на второй год после женитьбы стоговали с женой сено коровенке, которую завели тем летом, вспомнил, как застигла их тогда гроза.

Когда ранним утром добрались на обласке к своему покосу, над ливой еще не растворился ночной туман, высохшая в рядах трава отволгла от обильной росы, и пришлось почти час ждать, прежде чем начать сгрести сено в валки. А после полудня над кромкой тайги, где кончалась пойма, сгустилась тревожная синева и оттуда с запада, медленно вырастая, стала громоздиться зловещая туча. Чем большую часть небосвода она заволакивала, тем лучезарней казалось уменьшающееся поднебесье, зеленой отава, ослепительней блеск близкой реки. В душной предгрозовой тишине тонко звенели льнувшие к потному лицу и рукам комары, изредка всплескивала в реке чем-то напуганная рыба, и все чаще, перекатываясь в тишине, угрожающе рокотал гром.

Сплошная завеса дождя неумолимо надвигалась к реке, и, спеша завершить зарод, Коробов без утиху подавал жене на стог увесистые навильники сена, которые та стягивала граблями, уминая кирзовыми сапожишками растущую кладь. Крупные дождевые капли уже пятнали ее беленький платок, когда туча скрала солнце, рожденный грозными сумерками порыв ветра погнал по Васюгану беляки гребнистых волн, и на отлогом берегу испуганно затрепетал молодой тальник. Подав наверх последний пласт сена, Коробов с размаху воткнул в землю вилы и протянул жене таловые вицы, которые та, бросив грабли, торопясь уложила крест-накрест на макушке стога и соскользнула вниз к подхватившему ее под руки мужу. И, словно дождавшись, когда стог будет завершен, на мгновение осветив заречный ельник, совсем рядом с треском вспорола небо изломанная молния, и хлынул окатный дождь. Обняв жену, Коробов прижался с ней к колющемуся остьями еще не слежавшемуся селу, кипящая река усиливала и разносила громовые раскаты, и всякий раз, когда пойма озарялась мертвенным светом, ему казалось, что он ощущает резкий запах молнии.

— Не бойся, Шура, не бойся, — повторял он, прикрывая собой жену, будто можно было уберечь ее от страха перед этими полыхающими электрическими разрядами и катящимся по воде и земле тяжким громыханием.

— Я не боюсь, — шептала она, прижавшись к мужу. — Успели сено сметать. Все-таки успели...

Обломный ливень повалил не скошенную на кочках осоку, бесчисленными пузырями вспухал на поверхности реки, шумел по намокшему стогу.

— Я не боюсь, не боюсь, — шептала Шура. — Я не боюсь.

Вблизи все тонуло в мутной пелене дождя, но на западе уже ширилась полоса ясного неба; побушевав и наигравшись, гроза удалялась за Васюган, молнии посверкивали далеко за плесом, и докатывающиеся оттуда запоздалые раскаты грома становились короче и реже. Клокастый край тучи сполз с солнца, засверкал роняющий дождевые капли тальник, заблестела река, и засновали, что-то выискивая на сырой отмели, только что прятавшиеся кулички. Запахло живительной свежестью, и над испаряющей влагу землей заструилось теплое марево.

Выжав головной платок, Шура разулась и в прильнувшем к телу платьишке счастливо посмотрела на мужа:

— Хорошо... Правда?

Далеко за Васюганом серыми лохмотьями тянулись к земле размытые дождевые потоки, огромной дугой перекинулась по небосводу радуга, и в последний раз вдали устало проворчал гром. Коротко сыпанул с отставшего облачка просвеченный солнцем слепой дождичек, и на противоположном берегу звонко закуковала кукушка.

— Четыре, пять, шесть, — принялась считать Шура. — И ты, Коля, считай... Считай, сколько нам жить.

Река скрадывала расстояние, казалось, кукушка кукует где-то близко, близко...

— Тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один... Ой, Коля, какими же старыми мы будем...

Какими же старыми мы будем, — мысленно повторил сейчас Коробов, почему-то вспомнив, как минувшим летом, уже будучи тяжело больной, однажды жена спросила его:

— Хотел бы ты, Коля, чтобы всё в жизни повторилось? Только, чтобы ты не знал, что будет...

— Всё-всё повторилось? — переспросил он.

— Всё. С самого начала, след в след. Чтобы ничего нельзя было изменить.

— Не знаю, — ответил он. — Столько было тяжелого, страшного.

— Но было, Коля, и радостное.

— Конечно, было. И всё равно не знаю. А ты?

— Тоже не знаю, — сказала она. — Если б только часть жизни... Та, которая была счастливой.

— Зачем ты спрашиваешь об этом? — спросил он.

— Так, — ответила она не сразу. — Просто раздумалась...

И словно совсем недавнее вспомнил он сейчас, как считали они вдвоем на берегу Васюгана, сколько лет жизни предскажет им вещунья-кукушка, вспомнил струящееся над омытой поймой марево, повисшую в небе радугу, вспомнил, с какой трепетной нежностью поцеловал тогда мокрое от дождя, счастливое лицо жены... Вспомнил всё и с щемящей грустью почувствовал вину перед ней, ушедшей из его жизни, за то, что хранит в памяти другую женщину, которую когда-то тоже любил.

Ведь было у него в жизни что-то намного более важное, чем та давняя любовь к Тане, но он продолжал ходить взад-вперед мимо похожих один на другой двухэтажных домов и осевших в землю бревенчатых домишек, мимо глухих заплотов с прибитыми у ворот почтовыми ящиками, вдоль палисадников, в которых под чьими-то окнами жухла листва отцветших летом цветов. И всё казалось — вот-вот увидит ту, кому когда-то рассказывал про полюбившего слепую цветочницу бездомного бродяжку, увидит ту, что согрела его замерзшую в прохуdivшейся варежке руку и впервые поцеловала на окраине занесенного снегом далекого райцентра. Что-то же должно

в ней остаться от той прежней, что-то должно остаться и в ней, и в нем.

А на втором этаже отгородившегося от тротуара реденьким заборчиком дома, отодвинув оконную шторку, смотрела на прохаживавшегося внизу человека маленькая старушка. Она узнала его по походке, наклону головы, по еще чему-то неуловимому, чего не могла бы объяснить.

В далеком сорок седьмом, перед тем как выйти замуж, она написала ему письмо, которое так и не отправила, зная, что прочтет его еще кто-то, кроме них двоих... С мужем она прожила недолго, разведясь, вышла замуж за другого и тоже без любви. В Томск приезжала дважды и оба раза хотела увидеть того, кому когда-то написала на обороте своей фотокарточки: «Люблю...» Будучи в Томске, узнала номер его телефона и позвонила, но, услышав в ответ женский голос, положила трубку. Ее второй муж давно умер, детей не было, жила она одиноко и безрадостно. Как все старые люди, на склоне лет вспоминала места, где осталась молодость — Болотное, Новосибирск, реже — Васюган. Коробова вспоминала уже не часто, но неизменно с грустью и не хотела, чтобы он знал о ее неудавшейся жизни — пусть думает, что она в ней счастлива.

Но увидев его, заволновалась, растерялась, трясущимися руками достала из шифоньера еще ненадеванную кофту, вздумала было ее надеть, прикрыть беретом седые волосы и, спустившись по лестнице, пойти ему навстречу. Будто ненароком, будто случайно встретиться... Но одумалась, застеснялась своих морщин, опухших ног, нездоровой полноты. Не надо... Не надо, чтобы он видел, какой она стала. Ничего не воскресить, ничто не вернуть.

За окном начал моросить дождь, и порыжевшие листья обобранной внизу в палисаднике смородины вздрагивали от дождевых капель. Бесцельно переставляя на подоконнике горшочки с цветами, она видела, как, убыстряя шаг, он пошел по потемневшему от дождя проулку в сторону реки, и, глядя на его ссутулившуюся фигуру, вспомнила, как в холодном клубе учила его танцевать, вспомнила беспомощно-жалкую улыбку, с какой он посмотрел на нее, когда уводил его с берега в комендатуру ее будущий муж...

Вспомнила всё, закашлявшись от мучившей ее астмы, прижалась к оконному стеклу и заплакала.

Коля, Коля, Николай... Но ведь всё, что тогда было, по-другому быть не могло...

Дождь усиливался. Мерно тикали настенные часы, пахло геранью и лекарствами.

Через полчаса Коробов в последний раз посмотрел в рябое от дождевых капель окно теплохода на скрывающийся в туманной мороси берег и устало откинулся на зачехленную спинку кресла. Болело сердце. Закрыв глаза, и перед мысленным взором возник пустынный проулок, отцветшие под чьими-то окнами цветы, рассыпавшееся на дороге сено... Сердце щемило сильнее, неотступней, видение исчезло, остались лишь боль и всё скрывшая мучительно звенящая тьма. На несколько невыносимо долгих мгновений сознание сконцентрировалось на этой нарастающей во тьме боли, и вдруг она исчезла, смолк звон, и Коробов увидел залитую солнечным светом пойму, безбрежное небо над ней, увидел жену в светлом платъице... Увидел и не удивился. Хотел протянуть к ней руки, но не было сил. Звонко отсчитывала за Васюганом кому-то годы кукушка, синела на горизонте тайга, а может, это сливалось с небом море. И где-то там ждала Коробова жена, ждали родители и сестренка. Значит, не было разлук, не было старости, смертей... Коробов заплакал и не понимал, почему плачет.

— Чего, дед, валишься на меня? — спросил рядом кто-то.

— Пьяный, наверное, — сказал девичий голос. Коробов уже не слышал. Шумели кроны сосен, накатывался на берег морской прибой, и он спешил на этот зовущий шум, шел к манящему свету, шел к тем, с кем был счастлив в его уже окончившейся жизни.

Томск, 2003 г.

НЕСИТЕ ЕЙ ЦВЕТЫ!

Свет в конце тоннеля, манящий вход в далекий голубой мир. Он не впереди, куда все стремительней влечет меня время, он там, где осталось детство и все, что было тогда...

Водяная мельница у запруды, радужные крылья повисших над омутом стрекоз, заросший лужок на берегу медленной речки... Запрокинувшись в траву, смотрю в небо, где стремительно носятся ласточки, и чудится, будто я сам лечу в голубом просторе над речкой и старой мельницей, над сложенными из камней мызами и размежеванными полями, с которых на меня глядят снизу гранитные валуны. Но щекочут лицо травинки, неумолчно трещат кузнечики, я ощущаю спиной теплую землю, и небосвод опять высоко надо мной. Мне всего семь лет, я в той жизни, там... Знаю, что это сон, но хочу, чтобы он длился вечно. Пахнет летом, спелой земляникой, всплеснула рыба у берега, чуть слышный доносится перестук колес идущего где-то поезда. Приподнимаюсь, опершись локтем о землю, вижу отражающиеся в воде ракиты, цепляющегося за ромашку шмеля, вросший в поляну валун. Легким дуновением набегает тень, трепещет листва, тускнеют краски... Это облачко в небе напоззло на солнце, но, продолжая одинокий путь, медленно открывает его, и опять все залито сиянием, ярче цветы, явственней звуки. Так хорошо, так легко, но, смутно тревожа, где-то бесконечно долго идет поезд, и вместе с перестуком колес доносятся раскаты еще не страшного грома.

Эстония, светлая страна моего детства... Тени сосен на освещенной солнцем дороге к приморским дюнам, где в сыпучем песке тонут босые ноги; отмели, уходящие в залив под набегающими из морской дали волнами; свет на земле и в небе, негасимый свет моего детства. Долгими, долгими ночами, когда не могу уснуть, мучительно стремлюсь туда, и прокручивается в обратную сторону

кинолента, на которой моя жизнь. Зима, осень, лето, весна... Усталая зрелость, пролетевшая молодость, горькая юность. И такое короткое детство... Начало жизни, когда нет тоски о прошлом и страха перед будущим, когда бытие — кажущееся вечным безоблачное утро. Пробиваюсь к его свету, теплу, к маминой ласке. Сквозь боль, сквозь годы, которые уже не прожить лучше, безгрешней. Но относит, относит обратно неумолимое время, и нет сил преодолеть его течение.

...Веет холодом с разлившейся сибирской реки, гулко стучит тянущий баржу буксир, гаснут, не докатываются до полузатопленных островов разбегающиеся за кормой тяжелые обские волны. Редко, редко промаячив белым щитом бакена, проплывает вдали убогая деревенька — десятка полтора изб, бревенчатые амбары, черный креп сетей на сушалах, вытащенные на берег лодки — чья-то чужая неведомая жизнь. Чем дальше на север, тем беспредельней и пустынной Обь. Мутным пятном пробьется и снова утонет в облаках солнце, все серо и уныло — неприветливое небо, пугающая река, долгие, долгие плесы... В пропахшем просмолёнными досками трюме среди сотен ссыльных притулились возле бельевой корзины, в которой сложен наш скарб, мама, сестренка, я. Сестренка родилась, когда маме уже было за сорок, мама так хотела, чтобы у меня был в мире еще кто-то свой. Своя кровиночка... Надо ли было жить, чтобы все так трагично закончилось? Может, тогда в сумеречном трюме мама предчувствовала, что через год их обеих не станет. Бедные мои, родные мои...

Но прочь от студеной реки, бубнящего стука горбатого буксира, прочь от вязкого запаха смолы! Хочу туда, где безмятежно и по-детски легко, где мы были так счастливы...

Эстония, Eesti... Капли дождя, согнувшие травинки после короткой летней грозы, огромной дугой перекинувшаяся через небо радуга. Она поднимается за омытыми дождем ветлами, но я знаю, если добежать туда по мокрой траве, ее упирающийся в землю конец окажется уже над опушкой леса, за которой устремился вверх шпиль лютеранской кирхи с крохотным петушком наверху. Сколько бы ни шел, ни бежал к разноцветному сиянию, оно будет отдаляться и

ускользать, оставаясь таким же близким и таким же недосягаемым. И нельзя ни войти, ни прикоснуться к этой призрачной дороге в небо.

Пробиваюсь, пробиваюсь к зовущему свету детства. Скрылась разлившаяся сибирская река, остался где-то натужно гудящий буксир, но стучат на стыках бесконечных рельсов колеса гулаговского эшелона и трясется закрытый на засов товарный вагон. Сквозь узкую щель в дощатой стенке смотрю с нар на убегающие вдоль насыпи столбы с провисшими проводами, вижу поля, перелески, соломенные крыши русских деревень. Пахнет паровозным дымом, давно невымытыми телами, мокрыми пеленками, надсадно плачет грудной ребенок на коленях сжавшейся на противоположных нарах молодой эстонки. «Так-туда, так-туда, так-туда», — стучат безжалостные колеса, и с каждым сутками все слабее и безнадежнее младенческий плач... Хочу бежать, спасти маму, сестренку, хочу туда, где была другая жизнь! Но только во сне можно вернуться, только во сне спастись и, быть может, спасти...

Сегодня приснился дом, в котором жил с родителями. Давным-давно, когда жизнь моя была еще совсем коротенькой и страшными в ней были только сны. Я и сейчас иногда вижу пугающие сновидения, только уже не похожие на те, детские, и страх мой тоже иной. Приходят порой и светлые сны-воспоминания — дорогие сердцу покинутые места, люди, когда-то меня окружавшие. Но вдруг с болью понимаю, что давно с этим расстался, и тех людей уже нет на свете. Однако все явственно, все так явственно — они со мной и я с ними.

Только родители мне уже много лет не снятся, днями часто мучительно думаю о них, но они не приходят ко мне. И сегодня приснился лишь дом, в котором с ними жил. Не тот стоявший на обсаженной акациями улочке домик, откуда нас увели под конвоем, а другой, двухэтажный деревенский дом, где родители снимали комнату. В двух верстах от него за железной дорогой дымил трубами сланцеперегонный завод, куда отец уезжал на велосипеде работать в ночную или дневную смену, а тут простирались окаймленные грядами валунов крестьянские поля, зеленел лес, и сланцевая копоть не оседала на выстиранное белье, которое мама вывешивала сушить под окнами. Прожили мы там недолго, не помню, как было зимой, в

памяти остались запахи лета и полевых цветов около дома. Привиделась полянка, вся в крупных неотцветших одуванчиках, приснились ветлы у речки, большой куст черемухи возле дороги на соседнюю мызу. Тогда все было большим — и лестница на второй этаж, и деревья, и одуванчики казались тоже большими.

Во сне все сблизилось — омут с русалочьими купавами, куст у дороги. Наяву я не мог видеть этого одновременно — речка протекала далеко, а дорога, на обочине которой рос черемуховый куст, вела в противоположную сторону. Возле темной сибирской реки, где много лет я прожил после, прибрежные лога местами сплошь поросли черемухой, весной ее ветки окидывались напоминавшими эстонскую сирень душистыми гроздьями, но мне не снятся заросли рясной сибирской черемухи, а привиделся тот одинокий куст с четкими на фоне неба редкими ягодками.

Он рос на лужайке, через которую вела промятая копытами и тележными колесами проселочная дорога на ближайшую мызу. Вечерами, когда я ходил по ней за молоком, над проселком витал запах прошедшего стада, но днем на лугу паслись пестрые хуторские коровы, а на обочине в тени черемухи сидел пастушок. Свернувшись калачиком, рядом дремала рыжая собака; услышав меня, она приоткрывала глаза, но тут же опять погружалась в дрему, и только ее настороженные уши, прислушиваясь или отгоняя назойливых мух, изредка вздрагивали. Я останавливался и молча смотрел, как пастушок плетет из прутьев корзинку, вырезает складничком узоры на кнутовище, либо делает из ивовой коры свистульки. Степенный, постоянно занятый делом, мне он казался почти взрослым, хотя было ему, наверно, лет четырнадцать. Однажды он подарил мне свистульку, я и сам уже умел их делать, но его была звонче, звук у нее был переливчатый.

Всплыло сейчас бог знает из какой глубины имя пастушка — Антс. Вспомнил его, вспомнил мызу, куда ходил с эмалированной манеркой, вспомнил, как пахло на хуторском дворе коровами, лошадьми, дегтем, которым смазывали тележные оси... Возникли, казалось бы, давно забытые, связанные истончавшейся, но еще не истлевшей нитью памяти видения: прохладный земляной пол в прихожей хозяйского дома, прибитая для счастья на притолоке

подкова, дубовые столбы навеса, под которым женщины доят коров... Воскресли звуки ушедшей жизни, слышу, как начинают бить в дно подойника тугие струйки молока, сначала звонко, а потом все глуше, глуше...

Принадлежала мыза двум братьям, и хозяек было две, одна постарше, вторая — еще недавно обретавшаяся здесь же в работницах молодуха. После войны хутор разорили, хозяева-мужчины еще до того где-то сгнули, а женщин сослали в Сибирь. Но тогда жизнь шла своим чередом, никто не предвидел, что случится. Молодая хозяйка наливала мне процеженное через марлю парное, с еще не осевшей пеной молоко, я отдавал ей согретую в ладони монетку, и молодуха, мягко ступая босыми ногами, скрывалась с подойником в темном проеме двери. Осанистая, крутобедрая в долгой по щиколотку юбке...

С потяжелевшей манеркой я возвращался через опустевший лужок, вечернее солнце освещало гряды неподвижных облаков, тянуло сырими запахами земли, роилась мелкая мошкара.

Через восемь лет на пристани в Новосибирске, где ссыльных перегонят из вагонов на причаленную к дебаркадеру баржу, чем-то похожая на хозяйку того эстонского хутора буфетчица, подавая мне в окошечко крашенной зеленой краской будки хлеб на дорогу для ссыльных, тихо промолвит:

— На Васюган вас... Бедные...

Так впервые услышу я это слово — Васюган. Конвойные не говорили, куда нас везут, они даже не сказали, что который день идет война.

— Там плохо? — спрошу я.

— Там много мошки, сынок.

Я расмеюсь. Разве это страшно? Ведь там, откуда нас увезли, летом тоже была мошкара... Буфетчица жалостливо посмотрит на меня, а я, прижимая к гимназической курточке беремя буханок черного непропеченного хлеба, пойду в цепочке таких же, как я, подконвойных мальчишек по трапу на баржу и спущусь в трюм, где хлеб станут делить на всех. Там в трюме расскажу маме, что сказала на берегу буфетчица, и опять мне станет смешно.

Потом в васюганской деревне, где денно и ночью будет стонущий звон сибирского гнуса, вспомню пожалевшую нас женщину, вспомню хлеб, который носил на баржу... А тогда, когда мы жили в двухэтажном доме, куда изредка доносился чуть слышный звук проходившего за лесом поезда, все это еще предстояло: гнус, голод, опухшие лица — все, что случится после светлого детства, когда я ходил с манеркой по хуторской дороге, и, поблескивая крылышками, толкалась в вечернем воздухе, словно спешащая наплясаться на всю свою короткую жизнь, мелкая мошкара...

Сколько было потом в жизни разных дальних дорог, но они не изгладили в памяти того короткого проселка, в скольких домах я подолгу обитался, но почему-то вернулся во сне к тому, где провел лишь маленькую часть жизни... Приснились мне друзья моего детства Юло и Лемби. Белоголовые мальчишки-братья, играя с которыми, я когда-то научился говорить по-эстонски. Они жили в том же доме, покуда их родители не переехали за железную дорогу в поселок, куда вскоре, получив казенную квартиру, перебрались и мои. Там, в поселке, у меня появились новые друзья, и больше мы не общались. А через несколько лет июньским утром сорок первого, когда энкавэдэшники согнали в Народный дом сотни обреченных людей, я увидел в этой толпе и жавшихся к своим родителям тех мальчишек. Когда распорядившийся всеми суетливый капитан в перелестнутой портупеей долгой гимнастерке начал выкликать по списку мужчин, их отец встал в шеренгу рядом с моим... Как и тысячи отцов других ребят, они погибли в концлагере и зарыты в уральской земле у Сосьвы. А Юло, Лемби и их маленькая худенькая мать лежат в сырой васюганской земле, где похоронены мои мама и сестренка. Неведомые нам в детстве реки, щемящие сердца названия — Сосьва, Васюган...

Сегодня эти эстонские мальчишки пришли ко мне во сне. Приснилась и жившая в этом же доме девочка-калека. Бледненькая, с длинными ниспадавшими на плечи прямыми волосами; когда она с трудом спускалась по лестнице со второго этажа, бывало слышно, как стучат по ступеням ее костыли. Перекидывая не достававшую до земли искривленную ногу, она, словно раскрылатившаяся подбитая птица, сугулясь от приподнимавших плечи костылей, отходила от крыльца и опускалась на траву.

— Дети, пожалуйста, нарвите мне цветов, — певуче говорила она по-эстонски, и просяще повторяла: — Пожалуйста...

Мы собирали для нее букетики желтых одуванчиков, которых так много росло вокруг, и она, прикладывая стебелек к стебельку, плела всем глазастые венки. Когда протягивала их нам, под короткими рукавами платья становились видны ее до красноты стертые костылями подмышки. Мы убегали опять играть, а калека-девочка в венке из одуванчиков грустно наблюдала за нами.

С тех пор как я с родителями уехал из того дома, больше я ее никогда не видел. В школе она не училась, вероятно, не могла туда добираться. Много лет спустя слышал, что уже после того как нас сослали, она с матерью переехала за железную дорогу в поселок и жила в бараке возле угольного террикона. И вскоре после войны умерла.

Приснилась она мне на усыпанной одуванчиками поляне. Скрадывая берег, трепещут опрокинутые в отраженное водой небо ракиты и одинокий черемуховый куст, манят на недвижимую поверхность омута крупные купавы, а бледная девочка в светлом платье и окаймленных голубыми полосками носочках грустно, грустно издали смотрит на меня. И лежат рядом с ней в примятой траве полированные костыли.

«Надо унести ей цветы», — хочу я крикнуть своим друзьям мальчишкам, но испуганно понимаю, что позабыл эстонский язык. Юло и Лемби уходят от меня все дальше, я торопливо рву, собирая в букетик ломкие одуванчики, пачкающие ладони, и вспоминаю, мучительно вспоминаю нужные слова: «Несите... Несите ей...» И вдруг, словно кто-то громко произнес рядом, всплыло, возникло из глубины: „Viige temale lilled ” — крикнул я и пробудился от своего крика.

В прямоугольник заштрихованного полосками шторы окна смотрели из ночи прожекторы стоящего на стройке напротив дома башенного крана, и огни их вместе с мерцающими зеленым светом цифрами настольных часов отражались в стекле книжного стеллажа. Чернели силуэты комнатных цветов на подоконнике, смутно белея, растворялся в темноте потолок, и из чьей-то квартиры наверху приглушенная стенами доносилась магнитофонная музыка.

Мелодии не было слышно, только ритмичный стук барабана. Иногда он ненадолго смолкал и затем возникал вновь — все тот же беспощадный стук.

Я хотел вернуть сон, но ощущал огни за окном, слышал долбящий голову барабан, закрыв глаза, вдавливался в подушку, пытаюсь отрешиться от всего, что меня окружало, возвратиться на полянку к той речке, к друзьям детства, к калеке-девочке, которой надо отнести цветы... Ненадолго забывался, и тогда казалось, будто иду в сосновом лесу и ноги мои увязают в текучем песке... Видел сосняк возле Нарвы, где земля устлана сухой хвоей и опавшими шишками, где в просвеченном солнцем рыжем редколесье еще не заросли окопы гражданской войны. Там среди оголившихся корней когда-то я находил позеленевшие гильзы винтовочных патронов, там однажды возле обвалившегося бруствера поднял овальную крышку старой коробки из-под леденцов. Смахнул колючий от хвои песок, и на лазоревом фоне проступила бёмовская картинка — христосующиеся мальчик с девочкой. Эмалированная краска не облупилась, только чуть пониже обрамляющих девчоночью шею бус, поржавевшая по краям, словно окаймленная запекшейся кровью, темнела пробоина от гвоздя или пули.

«Несите ей цветы, несите...» Повторяя, шепча навязчивое, я шел во сне по этому лесу, пробуждался, видел глядевшие из темноты огни, слышал мерный стук барабана наверху и, прячась от этой ночи, от дня, который должен был наступить, погружался в тревожный сон. Опять шел, повторяя, шепча, словно заклинание... И где-то печально ожидала меня девочка-калека. Но исчезли впереди голубые просветы, черным и неприглядным стал лес... Явственно, до боли явственно приснилось былое — по таежной дороге веду за руку свою маленькую исхудалую сестренку. Она обессилела от голода, она уже не может идти. Через каждые сто шагов, привалившись к гниющему вдоль дороги лесному отвалу, мы отдыхаем, поднимаемся и опять идем, идем... Надо одолеть восемь километров до райцентра, может, там сестренку положат в больницу. Последние силенки покидают ее. Я беру ее на руки, несу по стиснутой пихтачом и чернолесьем дороге, но я тоже вконец ослаб. Ставлю ее на землю, кричу, чтобы она шла, шла! «Оставь меня здесь, — говорит она. — Оставь, я не могу больше идти». Я отхожу, она стоит в своем

стареньком вытертом пальтишке и обреченно смотрит на меня. Поднимаю ее, сажаю к себе на плечи, как когда-то носил ее отец. Она обвивает сзади мою шею худенькими ручонками, и я, с трудом переставляя ноги, бреду с ней, не зная, что через два дня ее не станет.

Слезы душат меня, это я плачу наяву. Не хочу, не хочу туда, где все они умерли. И опять снится приморский сосняк под Нарвой. Я несущу сестренку на руках по сквозному редколесью туда, где голубеет в просветах небо. Я бегу, я хочу спасти ее. Но стучат, стучат где-то близко колеса гулаговских вагонов. А может, это бьют прикладами в дверь пришедшие за нами в то июльское утро? Ноги увязают в песке... Голубые просветы впереди все просторней, задыхаясь, бегу туда с сестренкой в льющихся сверху косых потоках дымящегося света, убегаю от настигающего стука. Призывно шумит за дюнами близкое море. Там наше детство, там наш дом. Только бы не проснуться... Еще немного, и мы вернемся туда, мы вернемся.

Еще немного...

1994 г.

Об авторе

Вадим Николаевич Макшеев родился в 1925 году. Родители его — белоэмигранты, нашедшие пристанище в Эстонии, где и прошло детство будущего писателя. Оборвалось оно трагическим утром 14 июня 1941 года, когда в Прибалтике тысячи семей были разлучены — мужчины отправлены в концлагеря на Северный Урал, а их жены — и дети в ссылку, в Сибирь. Спустя восемь месяцев отец Вадима Макшеева погиб в концлагере, а еще через год мать и сестренка умерли от голода на таежном Васюгане...

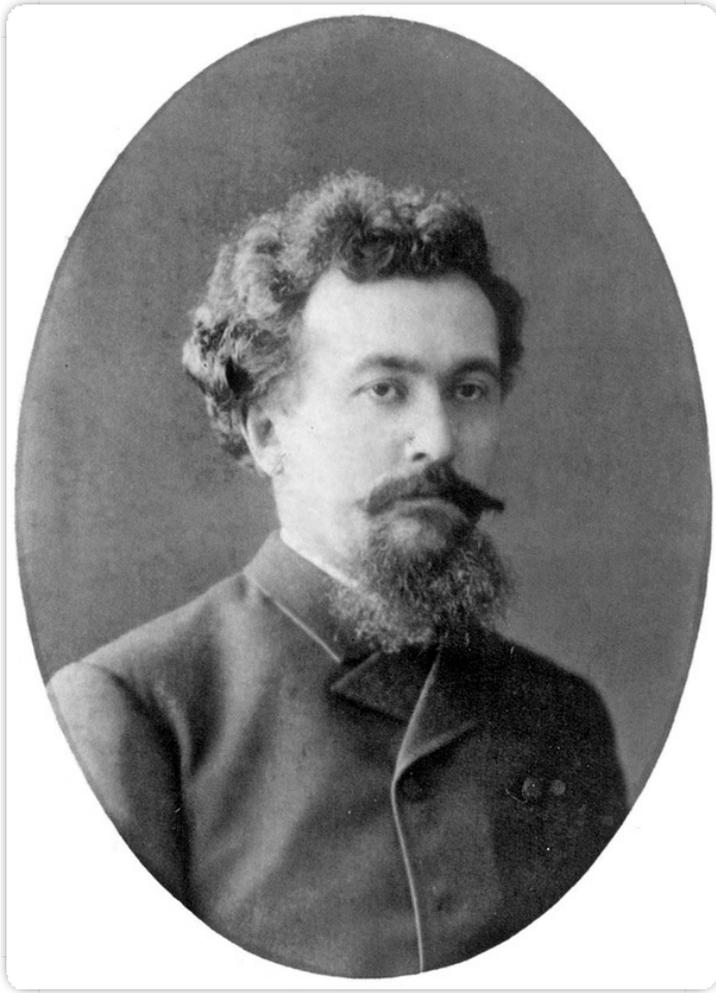
На севере Томской области Вадим Макшеев прожил более 20 лет, из которых четырнадцать лет был спецпереселенцем, т.е. состоял под надзором спецкомендатуры. Работал на рыбзаводе, позднее в колхозе, а в 1960-е гг., уже будучи вольным, начал работать в сельскохозяйственных отделах газет — сначала районной, затем областной. Со временем стал писателем. В Эстонию не вернулся, но через всю свою жизнь пронес светлую память о родных местах, прошедшем там детстве и о тех, кто был тогда с ним рядом — отец, мать, сестренка Светлана... Естественно, значительная часть его творчества посвящена тому периоду жизни.

Книги Вадима Макшеева выходили в Москве, Новосибирске, Томске. Помимо воспоминаний о детстве в них присутствует «деревенская тема» и до боли ему знакомая тема трагедии спецпереселенцев. «Нарымская хроника» издана в серии «Исследования новейшей русской истории» под редакцией А.И. Солженицына, а в 2008 году увидела свет его документальная повесть «Спецы».

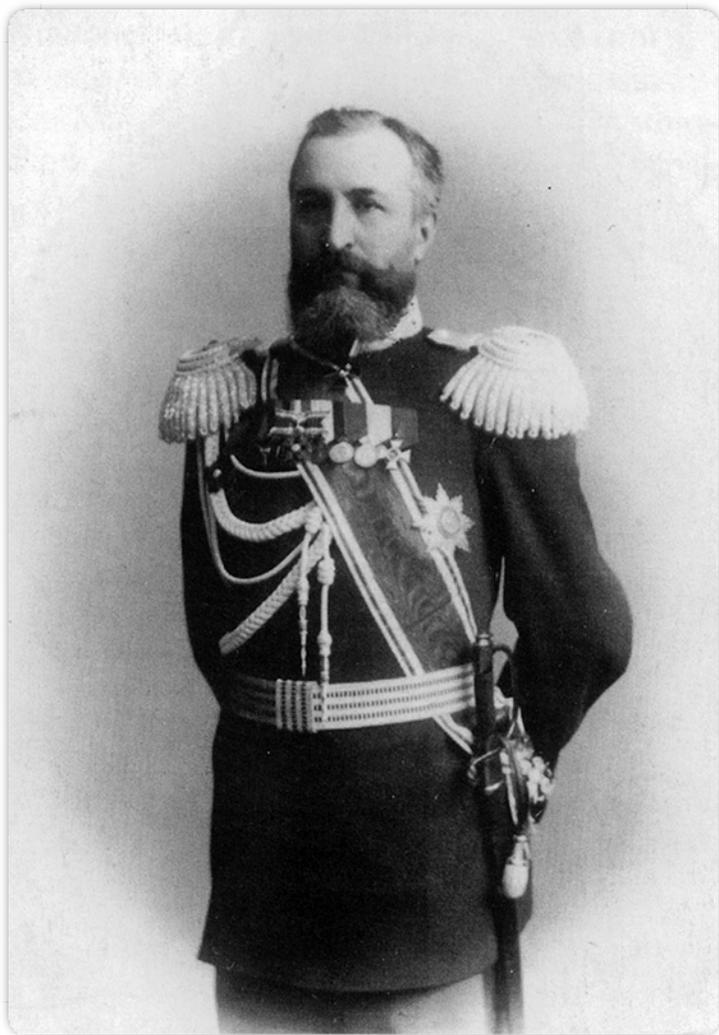
Сейчас Вадим Макшеев живёт в Томске. Он член Союза писателей России, лауреат премии Союза журналистов СССР (1973), премии Союза писателей РСФСР (1986). В 2011 году Вадим Макшеев был награждён орденом «Креста Земли Марии» за за многолетнюю

работу по исследованию судеб репрессированных и высланных в Сибирь граждан Эстонии.

Фотографии



Мой дед по отцу — статский советник Александр Николаевич
Макшеев.



Отец моей мамы — генерал, профессор Николаевской военной академии Федор Андреевич Макшеев.



Ольга Федоровна Макшеева, моя мама. 1930-е годы. Эстония.



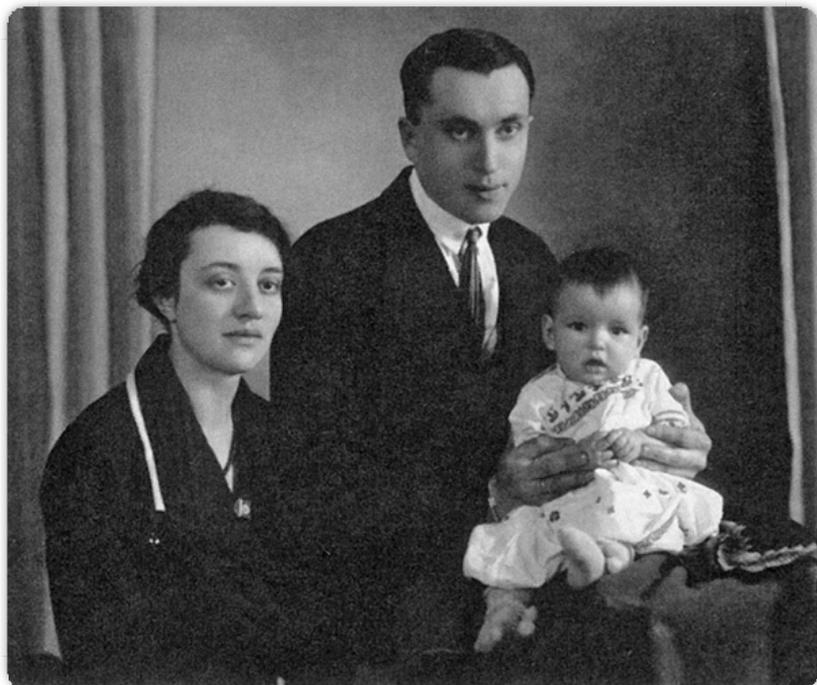
Николай Александрович Макшеев, мой отец, поручик артиллерии во время Первой мировой войны.



Успенский собор в Тарту. 1930-е годы.



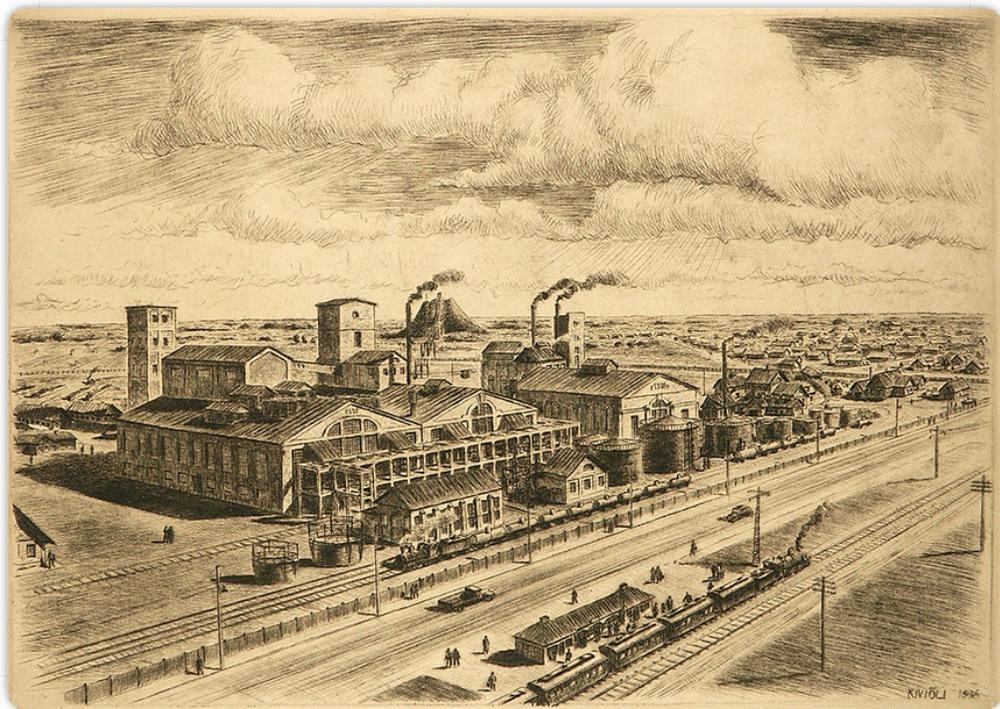
Мои родители, Ольга и Николай Макшеевы. Тарту. 1931 год.



Наша семья. Тарту. 1927 год.



Кивиылиский сланцеперегонный завод компании *Eesti Kiviõli*. 1930-е годы.



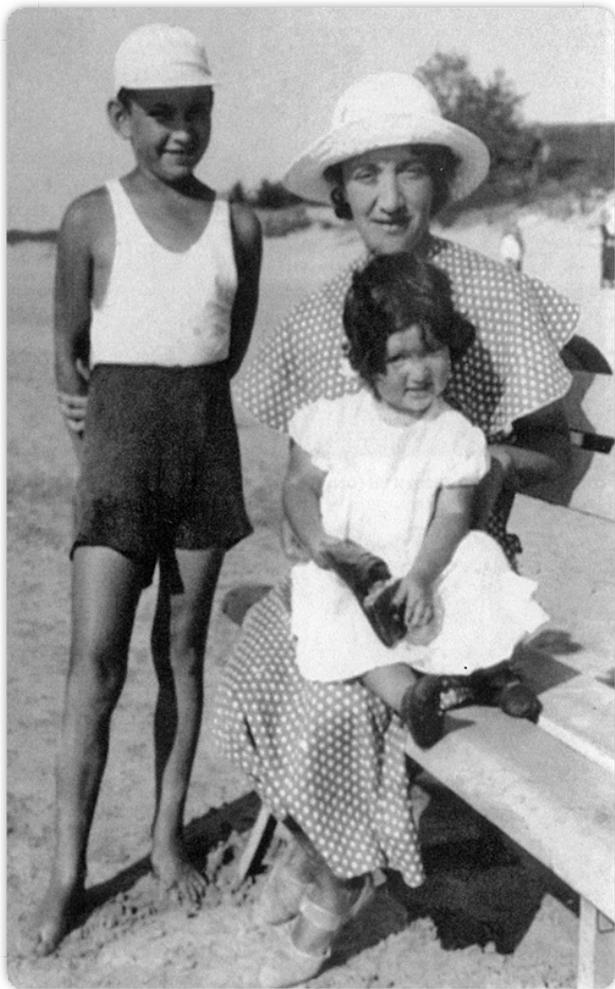
Вид на Кивиыльский завод сланцевого масла. Эрно Кох. 1936 год.



Народный дом. Кивиыли, вторая половина 1930-х.



Бараки для работников завода. Кивиыли. 1930-е годы.



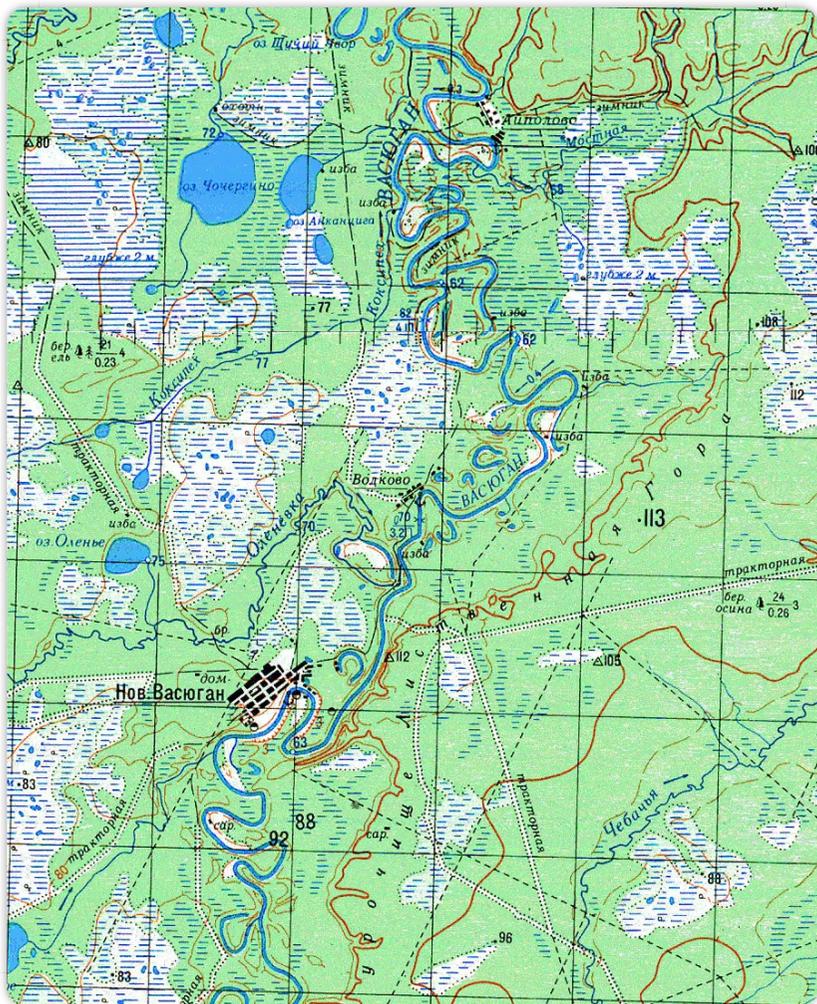
Мама, я и моя сестренка Светлана. Нарва-Йыэсуу (Усть-Нарва). 1938
год.



Моя сестра Светлана.



Я — скаут, мне восемь лет.



Поселки Волково, Новый Васюган, Айполово (Нарымский округ Новосибирской области). Сюда Вадим Макшеев был отправлен на спецпоселение летом 1941 года.



Река Васюган около поселка Новый Васюган. 2010 год. Фотограф
Katrin Saukas.



Бескрайние васюганские болота. 2010 год. Фотограф Katrin Saukas.



Я с другом Сашей Карамзиным (справа) на курсах колхозных
счетоводов. Новый Васюган. 1947 год.



Я и моя жена Саша.



Вадим Макшеев на реке Васюган во время экспедиции организованной Мерле Карусоо (ETV). 2010 год. Фотограф Katrin Saukas.



Мемориал жертвам депортации на кладбище в Новом-Васюгане. В первом ряду, в центре Вадим Макшеев, Рената Таарде и Уно Мель. 2010 год. Фотограф Katrin Saukas.



Памятник гражданам Эстонии, погибшим в Томской области. 2010 год. Фотограф Katrin Saukas.